

84/2 РОС²РУС/6
М 71 - кр



Александр Мишуков

Дыгандский дол

Драматическая повесть

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗДНЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.



—

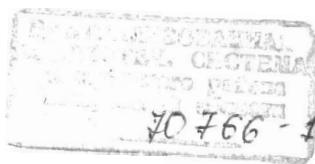
\overline{K}

75
Мишик

Александр Мишуков

Чыганский дол

Драматическая повесть



г. Кемерово, 2011 г.
РПА «Ректайис»

ББК 84.3 Р7

Миш 71

Благодарю Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского муниципального района, свою внучку Мишукову Алёну и её мужа Харланова Дениса за спонсорскую помощь в изготавлении книги.

Автор

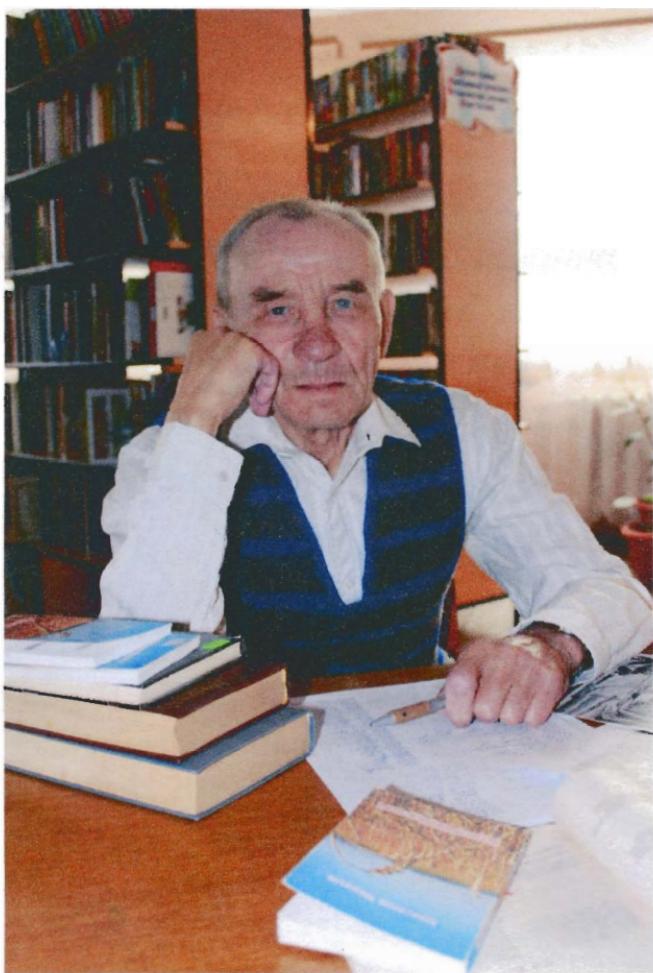
Мишуков А.А.

Миш 71 **Цыганский дол**

Драматическая повесть. – Кемерово:
Ректаймс, 2011. 248 с.

© А. Мишуков
© СП
© РПА «Ректаймс»

*Светлой памяти роди-
телей моих: отца
Алексея Васильевича и
матери Варвары Нем-
ровны посвящаю.*



ОТ АВТОРА

Писательский мир страны Советов в середине прошлого века... Коммунистическая догма висела над литературой и искусством вообще. Одни писали великие произведения, другие завидовали их успеху и славе, третья считали настоящей литературой литературу исключительно критического реализма в пику реализму социалистическому.

Литераторы поедали друг друга, иных критиковали по указке сверху, доводя до самоуничтожения.

Никакие отклонения от генеральной идеологической линии коммунистической партии не приветствовались: ни насчёт будущего, ни насчёт настоящего.

О чём бы ни писали писатели и поэты: о луне или ромашках – всюду должно было присутствовать имя Ленина и созданная им партия. Как будто без них с небосвода упадёт луна, или засохнет ромашковый луг.

И читателями тех лет была половина всей молодой интеллигенции страны. Это была та половина, у которых лоб был повышен, а шоры на глазах были поменьше. Потом молодая интеллигенция становилась старше, и к читателям добавлялось новое поколение повзрослевших школьников. Шли годы, но не менялась литература, не менялась жизнь, хотя, по обещаниям первых лиц государства, должна.

С каждым годом наше поколение и идущие нам на смену ощущали несбыточность того, за что боролись живущие до нас и мы сами. Вместо счастливого сегодня, нам по нервам – с оттяжкой. Нету нам в будущем светлого будущего, не будет его ни в 2000-х годах, ни в других эпохах. И драться за счастье и справедливость, драться с врагом внешним и внутренним, и мразью всех мастей и обличий

нам придётся всегда и везде. Это будет нам вместо приятного отдыха в благоустроенном светлом завтра.

То была эпоха, когда написать честную историю о нашей жизни было всё равно, что написать на себя в КГБ донос. Компартия и её идеология была вне критики.

Верхушка КПСС – средневековые иезуиты, могущие уничтожать за инакомыслие кого и что угодно.

И хотя о селе в те годы было написано много, я как очевидец, спешу ещё раз рассказать о жизни колхозной деревни в те далёкие и такие близкие годы. Однако ещё пятьдесят лет назад я боялся того, что моё слово, обращённое к читателю, может и не прийти в этот удивительный мир. Но сейчас я пытаю надежду на «разночинную интеллигенцию» мозги и совесть страны. На молодых и пожилых, и даже тех, кто в оппозиции к власти, верящих в добро, свои силы и страну.

Всё, о чём будет рассказано в повести, в мыслях витало и существовало в черновиках ещё в 60-х годах Советского времени. И лишь с вершины прожитых лет, в пору зрелости и относительной свободы слова рискнул, не опасаясь оказаться в стенах «психушки», говорить и писать о том, что думаю.

Нас миллионы. Я, как автор, верю, что ещё найдутся люди, которых десятилетиями обманывали, унижали, просто убивали сотнями тысяч, но, несмотря на всё это, они до одури любят свою страну, по имени Россия, поэтому не останутся равнодушными к моему художественному слову.

Мищуков А.А.

В необъятных массивах средневолжских лесов протекает река с поэтическим названием Ваза. Из зелёного бордюра хвойного молодняка, что приютился возле разодетого в разные цвета редколесья, вытекает она скрываясь в еловых чащах, а вырвавшись на свободу, разливается на просторе широкой зеркальной гладью.

С южной стороны, почти вплотную к ней, проходит старица реки Спиридовки, именуемая Цыганским долом, богатая травами. На много вёрст тянутся эти покосные угодья буйным зелёным разливом.

Недалеко от выхода дола из леса к колхозным полям, в густом разнолесье, находится пруд. Чёрный, невзрачный на вид. Лишь в ясную погоду увидишь в нём отраженье прибрежных деревьев. В летнюю пору тихие стоячие воды его покрывает одолень-трава. Старые берёзы, опустив в него свои косы-ветви, желают зацепить редкие белые водяные лилии из чёрной прохлады, в которую по ночам заглядывает колосистый месяц.

Немало повидал этот пруд на своём веку. Были и легенды сложены в народе о его происхождении. Кто говорил, что его выкопал и соединил с Вазой некий беглый Афанасий. Построил землянку и жил, якобы скрываясь от царской охранки. Другие говорили, что когда-то в старину, это было небольшое лесное озеро. Как бы то ни было, стоят, молчат его тёмные воды, бережно охраняя тайны проходившего на его берегах в далёкую старину: может Алёнушки сидели у воды да русалки раскачивались на ветвях плакучих берёз.

Можно было бы вообще не вспоминать об этой реке Вазе (мало ли красивых названий у рек на Руси!), если бы однажды в конце тридцатых годов прошлого столетия на ладонях лесной поляны и Цыганского дола, на её берегах, не случилось события, породившие новую легенду.

Ну, обо всём по порядку.

Земля на зёрнышке стоит.
Великая народная мудрость

Среднерусское Поволжье - уникальные места России!

Бывает, увидишь удивительный милый уголок русской природы или услышишь где-то умную, уникальную фразу, сказанную простым человеком в сельской глубинке, сразу заволнуется кровь, захочется разить это явление только тебе известными словами...

В смешанных лесах этого края, испещрённого артериями больших рек и малых речушек, приютились вечные труженицы земли русской – деревни и сёла. Волнуются на ветрах хлебные ивы, голубеют поля цветущего льна. Мужики, бабы и дети, уставшие за день, спят, как издревле водится на Руси, под одним одеялом. А вдалеке на лугах пасутся кони. И всё смотрит в звёздное небо.

Замалинится зорька – и деревенский будильник кричит побудку. Ну какая же деревня без петушиного тенора! Захлопают калитки, во дворах замычат коровы, за скрипит колодезный журавель, поднимая из своего чрева живительную влагу и отдавая её бабам в звонкие вёдра.

Оживает в селе Брусово земной рай...

Но это кажущийся рай. Убогая, полуницая деревня тридцатых годов. Избы, крытые соломой. У хлеба – полу-голодные крестьяне, но на них извечно держалась Россия. Деревня не только будит воображение, она рождает великих художников – творцов своего дела, кормит нас. Это Божий мир, и он делает из нас видящих и чувствующих гармонию этого мира.

Один из первых, по утрам *райо* входящий в этот мир – Иван Васильевич Варёнов. Высокий, сутулый ножи-

лой человек уже не первый год работает председателем правления Брусовского колхоза имени Кирова.

«Ранняя тёплая весна – это неплохой задел. С посевной управились в срок, – думал Иван Васильевич, направляясь в контору. Он пытался направить свои мысли в оптимистическое русло. Как бы ни было трудно работать в те годы (за каждый шаг навстречу людям можно было оказаться под колпаком у власти), коммунист Иван Васильевич Варёнов свято был верен формуле: «Руководить – это не одна мысль для всех, а все мысли для одного».

Хозяйство у председателя большое, но суглинистые почвы не могли давать высоких урожаев. Минеральных удобрений было мало, вся надежда на органику. Со дворов колхозников и ферм вывозили навоз, золу, птичий помёт, опилки – всё это закладывалось в компостные скирды и после их созревания вывозилось на поля. Дело затруднялось ещё и тем, что выращивать приходилось много культур: озимую рожь и пшеницу, овёс, просо, горох, гречиху и технически достаточно трудоёмкую культуру – лён. Так как естественных покосов было мало, значительную часть посевных площадей занимали кормовые культуры.

В каждой бригаде на животноводческих фермах разводили свиней, овец, кур, гусей. Было большое поголовье крупнорогатого скота и лошадей. Сеном кормили только молодняк и дойных коров. Овец – вениками. Школьники в период между сенокосом и уборкой зерновых заготавливали десятки тысяч веников. Их вязали прямо на месте из всего того, что росло и зеленело: осин, берёз, липняка. У лошадей в кормушках – яслях, вместо клевера и овса, часто находился мелко рубленный еловый лапник. И всё же кормов катастрофически не хватало.

Спускаемым сверху планам, указаниям, шедшему потоку разного рода директив альтернатив не было. Любая инициатива, инакомыслие душились в зародыше.

В связи с высокими планами госпоставок всех видов сельхозпродукции в хозяйствах ради их выполнения нередко шли на преступление – приписку, отчего люди страдали ещё больше. Народ, производивший мясо, молоко, хлеб, сам жил впроголодь и при этом бесплатно работал от темна до темна.

Техники, кроме конных лобогреек для жатвы зерновых, не было. Кони, плуг, серп, косы и людские руки – вот тот арсенал, та самая сила, что кормила огромную страну, а она в ответ выгревала из закромов колхоза всё то, что можно выгнать, оставляя пустые сусеки. В то же время страницы газет пестрели радужными сообщениями о зажиточной, счастливой жизни советской деревни.

В колхозах частыми гостями были корреспонденты и всякого рода полномочные представители власти, нередко в делах села некомпетентные. Некоторые из них не могли отличить рожь от ячменя, а вику от гороха. Лён, из волокна которого были сотканы их белые кителем и картузами, им казался сорной травой.

Один из десятитысячников, бывший директор Шуйской меховой фабрики, приехавший в колхоз им. Кирова на стажировку в должности будущего председателя правления, коммунист Василий Фёдорович Дербенёв не скрывал своей неграмотности в колхозных делах. После отъезда районного руководства он в тот же день признался:

– Учите меня! Ибо для меня всё одно, что сеялка, что телега, потому что я не видел ни того, ни другого. Простите меня, уважаемые селяне, за невежество, только я не думаю, чтобы булки росли на деревьях в ваших садах...

Хорошо, что хоть честным оказался.

Иван Васильевич Варёнов не раз ставил вопрос на уровне района о специализации хозяйств, но бюрократическая машина района не могла решать такие вопросы. Когда же председатель на областном совещании изложил свои

соображения на это счёт и обратился к руководству области, то ивановская партийная верхушка порекомендовала ему на первый раз не заниматься самодеятельностью и пригрозили отдать под суд за саботаж. А какой же это саботаж, если для скота не хватало кормов? Летом даже свиней пасли по улицам деревень и неудобицам. До весны кормов худо-бедно хватало, а потом начинался падёж, который всячески скрывали. Сверху же шли директивы не только о сохранении поголовья скота, но и о его увеличении.

Народ недоедал и жил по китайской формуле: «Избыток пищи мешает тонкости ума».

Лихие годы, лихие времена.

Дикость, жестокость тридцатых годов, военных лет. Не легче были и послевоенные. За унесённую с поля морковку или карман гороха осуждали на срок до пяти лет. Налоги, займы душили деревню. Данью облагалось всё: люди, коровы, куры, овцы, даже яблоня в саду была под гнётом налога.

Урожаи в полях были низкими и назывались «самсам», так как собирали в отдельные годы столько, сколько высевали. Фураж почти весь вывозился вместе с основными госпоставками. Скот от истощения стоял на подвязках. Крыши изб, осенью покрытых свежей соломой, к весне раскрывались и скармливали скоту. В сводках же районной и центральной печати изобиловали цифры высоких надоев и перевыполнение планов по заготовке кормов.

В брусовской бригаде Авдеева Андрея в ту пору работал конюхом Иван Андреевич Лагов – пожилой мужчина, в прошлом коновал, очень любивший лошадей. Он говорил, что скотину, как и людей, надо кормить строго придерживаясь режима. Может, оно и так, только строгий режим не спасал, так как кормёжка была скучной. Некоторые кони, особенно рабочие, днями висели на ремнях: так слা-

бы были. И вот этот умный человек допустил непоправимую оплошность: имел неосторожность идеологически пощутить.

Иван Андреевич, как-то узнав, что в бригаду приезжает инспекционная комиссия, собрал по соседям центральные газеты, в которых были опубликованы хвалебные статьи о жизни села, и развесил из перед пустыми конскими яолями. Члены комиссии, осмотрев конюшню, поинтересовались новшеством брусовского конного двора: «Зачем перед конскими мордами висят газеты?»

Конюх с патриотическим, как ему казалось, юмором ответил:

— Так у нас кормов нет, а в газетах пишут, что их больше чем достаточно. Вот мои лошадки почитают эту сельскую фантазию и сытыми становятся, а уж работают как — одна за двоих ломит!

Комиссия уехала.

Иван Андреевич и не подозревал, что шутка эта, по тому времени как клевета на советскую действительность, обойдется ему десятью годами лагерей.

Иван Васильевич всё время работал в напряжении, сутками мотаясь на своём жеребце по бригадам и фермам. Директивы, комиссии, отчёты, казалось, по пустякам, доводили до нервных срывов, глубоких стрессов, депрессий. На этой почве у председателя часто болели зубы, а в последний год стал беспокоить шейный отдел позвоночника, но он по-прежнему был энергичен.

Вчера после телефонного звонка из района Ивана Васильевича снова забеспокоили зубы. В районной поликлинике зубной врач принимал три раза в неделю, а зубы

болеют не по расписанию, да и до района целых двенадцать вёрст по бездорожью, а тут ещё...

Перевязав щеку шерстяным платком под узелок на макушке председатель, слегка горбясь, шёл к правлению колхоза. Было раннее утро — только что согнали на пастбище скотину. По дороге, ещё пахнущей деревенской жизнью, его нагнал бригадир.

— А... Андрей. Здравствуй, — председатель остановился и, как солдат по команде, повернулся к нему всем телом.

Вид у Ивана Васильевича был комичен, но бригадир, сдерживая улыбку, сочувственно осведомился:

— Что?.. Снова?

— Всю ночь проклятые спать не дали, — пожаловался председатель. — И полоскал, и грел, и студил... Дерут — спасу нет...

Авдеев, как бы вскользь, заговорчески посетовал обратиться к Музгару Степанычу — колхозному кузнецу. Он, сказывают колхозники, заговаривает зубы, ворожбой лечит от испуга, детские грыжи...

— Какой Музгар? Какая ворожба? Ты знаешь, о чём говоришь? — Иван Васильевич, слегка выпятив живот, чтобы встать прямее, посмотрел на бригадира.

— Ты же, Андруха, знаешь, что я — атеист, ни в бога, ни в чёрта не верю... А ты мне про Музгара, про ворожбу... Какое тут, к хрену, колдовство?

— Ну, хорошо, Иван Васильевич. И я — атеист, но почему бы не поверить в добрые действия кузнеца? — спокойно спросил Андрей. — Или вы, отрицая бога, отрицаете и знахарство, или, как вы выразились, колдовство?

Председатель, чтоб не топтаться на месте посреди улицы, предложил Авдееву пойти.

— Во-первых, Андрей, я не отрицаю бога — просто не верю. Во-вторых, не верить — не значит отрицать. И тебе,

как молодому умному человеку, своему сподвижнику, советую не слушать оголтелое глагольство атеистических глашатаев... Не веришь – не верь, это личное дело каждого, но не надо об этом выступать со всех подмостков...

Молодой бригадир не поверил своим ушам: кто перед ним, с кем он идёт по родной улице: с председателем колхоза, коммунистом или церковным псаломщиком?

– Осуждать же людей за веру или неверие нельзя – покажешься невежей, ибо никто не может знать, есть ли Бог. Вера, как и любовь, Андрей, не терпит рассудительности. Если человек искренне любит кого-то или верит во что-то, он не будет кричать об этом, потому что любят и верят молча.

Они шли не спеша, и в ранние часы утра им никто не мешал.

У Андрея в голове всё смешалось. Он никогда не слышал от председателя подобных суждений ни на току, ни на собраниях колхозников. Там – текущая политика и пути развития производства, а тут... Иван Васильевич, словно костюмер, неожиданно распахнул перед ним другую полу пиджака с иным цветом подкладки.

Авдеев, ускорив шаг, зашёл вперёд председателя.

– Что, Андрей? – спросил Иван Васильевич, будто угадав ход его мысли.

Андрей без лишних эмоций, спокойно, чтобы не обидеть старшего товарища, спросил:

– Так вы же, Иван Васильевич, коммунист, член партии, и такое...

Председатель тоже остановился, дотронулся до большой щеки, хотел было снять платок, но передумал.

– Коммунист и член партии, по моему умозаключению, разные вещи... Хотя советские идеологи будут вдалбливать в мозги не одному нашему поколению, если они останутся у власти, идентичность этих понятий.

– И как же понимать?

– Членом можно быть любой партии, коммунистом – нет. Поэтому истинных коммунистов гораздо меньше, чем членов. Например. Может, это и политический анекдот, но ведь, в них, анекдотах, большая доля правды. Так вот. Английский писатель – фантаст Герберт Уэллс, будучи на приёме в Кремле, спросил у Владимира Ильича: «Сколько коммунистов в России?» какую цифру назвал вождь мирового пролетариата, как думаешь?

Они двинулись дальше.

– Не знаю. Сотни тысяч, наверное, или...

– Он сказал: «Три» и пояснил удивлённому Уэллсу: «Ленин, Ульянов да Я. Остальные – члены партии.»

– Выходит, что... – задумчиво произнёс Андрей.

– ...коммунистом можно стать лишь при определённых условиях, – продолжил Иван Васильевич мысль бригадира. – Эти условия, принцип и определил, выдав как формулу, сам Владимир Ильич. Только этим принципом никто не пользуется. И придёт, Андрей, время, а я в этом убеждён, в партию, скорее всего, будут принимать не по принципу, не по убеждению, а просто записывать, как факт сдачи плана поставок государству. Сверху в парткомы поступят директивы, в которых порекомендуют в таком-то квартале принять столько-то новых членов партии.

Они подошли к дому правления. Андрей, забыв, что он шёл в кузницу за новым сошником, присел с председателем на ступеньку крыльца. Он не спускал глаз с говорившего.

– По ленинской теории, Андрей, каждая кухарка или доярка, в принципе, может управлять государством, но им, однако, сподручнее кормить семьи или доить коров. Конечно, я не сколько не умоляю достоинств наших великих тружениц и они достойны быть членами правительства, но о членстве мы с тобой уже говорили. Их сагитируют,

запишут в партию. Передовики производства, лучшие из лучших, могут стать депутатами Верховного Совета, поехать на слёт, съезд, единодушно принять новую программу партии и правительства о развитии страны, прокричать здравицу товарищу Сталину и... на этом их управление государством закончится. Они снова вернутся к кастрюлям и бурёнкам.

Иван Васильевич, произнося этот монолог – откровение, как опасную крамолу, всё время наблюдал за своим молодым собеседником. Он ему верил.

– Да, Иван Васильевич.., на улице вроде бы не жарко, а под рубахой...

«Засомневался, – подумал председатель. – Это хорошо. Этот не станет горлопаном коммунистических идей, постепенно разберётся, что к чему. Такому, кажется,чество и партбилет, может и не нужны будут. Хотя... как знать?»

– Это от того, что я в твою молодую душу сомнения вселил. Прости, Андрей. С годами поймёшь. Одно помни: где бы ты ни был, что бы ни делал, какую бы должность ни занимал, – помни о людях, живи с ними одной, а не обособленной жизнью.

Он взглянул на Авдеева. Тот молча слушал.

– Жить и шагать вровень с веком, иметь и отстаивать своё мнение, точку зрения – тяжёлое и опасное в наше время дело. Тяжело пахать землю, растить хлеб, тяжело признаться девушке в любви, сказать правду другу в глаза, свершить заведомо скверный поступок, но, пожалуй, всего тяжелее – быть и оставаться Человеком.

В голове Андрея от услышанного роились мысли, но он старался не показывать их столкновения.

– Учись общению с людьми. Произнося какую-либо фразу, новая мысль должна быть готовой для развития

первой. Избегай ничего не значащих фраз, говори по существу, коротко, внятно.

И вдруг Иван Васильевич спросил:

— Чехова читал?

Увидев утвердительный кивок, продолжил:

— Учись у него лаконичности. Учись у людей, земли, у природы. Никогда не сваливай груз своих ошибок на плечи других, учись признавать их. Будь терпеливым к недостаткам людей, не смеяся над ними. Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Будь интеллигентным человеком, но каким бы культурным и образованным человеком ты не стал, имей в себе силу воли в определённом случае сказать себе: «Я — невежда...»

У соседнего колодца брякнули вёдра, заскрипел журавль. Оба замолчали. Авдеев опустил голову. Председатель снял с головы потешный платок-бант, сунул его в карман пиджака, потёр рукой утихающую в склоне боль.

Солнце поднялось уже высоко, прогревая майскую землю. Двое мужчин мирно вели разговор, сидя на ступеньках крыльца правления. Один говорил, — другой больше слушал, изредка включаясь в беседу, отвечая на приветствия проходивших по делам односельчан.

— Ты прости меня, Андрей, — заговорил снова Иван Васильевич, почувствовав на себе взгляд бригадира. — Прости за столь длинную программу морали на будущее. Я ведь тебе, как своему второму сыну... Мы ведь дружили с твоим отцом, царство ему небесное. Мой-то, Димка, сам знаешь, в Палехе, — он улыбнулся, — на богомаза учится. Спал и бредил этим. Мы с матерью перечить не стали. Однако жаль: от земли отрывается. Ну, что ж? Пусть малиют. Художники тоже нужны стране. Да, к слову, обещал на месяц приехать.

— Правильно. Я рад за Димку. Хорошее училище, на весь мир известны со времён старины палехские, как вы



выразились, богомазы. Он вам ещё спасибо скажет. И я, за ваши проникновенные слова.

— Спасибо, Андрюша. Только кому, как не молодым, говорить об этом? Кузнечу Музгару или соседу твоему?

му — Егору Денисову? Так они вчетверо умнее и опытнее нас с тобой! Люди от земли, великие труженики. Они, как и миллионы советских людей, понимают: партия и правительство в тяжелейших условиях для страны подняли народ на её индустриализацию — на закладку будущей мощи Советского Союза. Рабочему люду требуется много хлеба, как кровь для сосудов и мозга. Но кусок хлеба, по определению академика Тимирязева, «самое удивительное изобретение человека», нужен и изобретателю. Он трудится на первейшем фронте, ибо без этого удивительного изобретения ни конской подковы не выковать, ни завода, ни плотины не построить. И выходит, Андрей, основной движущей силой государства является Его Величество колхозное крестьянство!

Андрей встал и неожиданно продекларировал:

...Хлеб зреет и грозит нуждой,
Быть может, голодом...
И всё же
Мне этот край всего дороже
Разливом нивы золотой.

— Молодец! Спасибо за поэтическую струю в нашем разговоре. Чьи же эти прекрасные строки? Уж не твои ли? Сыпал — балуешься.

— Нет. Это Иван Бунин. Русский поэт начала этого века. А я так, для себя...

— А поэзию Анны Ахматовой... ещё не читал? — поинтересовался председатель.

— Нет. Только слышал и читал в «Известиях» на неё грязные пасквили... Она же не печатается, запретили.

— Потому, что она — глыба. Её не сдвинуть. Её можно только расколоть, убить, но поэзию не убьёшь, особенно её поэзию. Гонение Анны Ахматовой, как и всей рос-

сийской интелигенции началось с 22-го года, с момента убийства наркома просвещения тов. Урицкого. Люди искусства и литературы уничтожаются как класс. Но придёт, Андрей, время, и ты будешь с замиранием сердца читать её пророческие строки, обращённые к нам и будущему поколению советских людей. Запомни мои слова...

У слова эти большого и далеко не единственного разговора молодой Авдеев будет помнить долго... Он будет помнить их, вступая в ряды коммунистов на фронтах Великой Отечественной войны, которая вскоре начнётся. Будет помнить, вернувшись живым из её огня и пепла, но в ней живьём сгорит половина его семьи — жена и сын. Андрей будет помнить слова Ивана Васильевича, работая снова агрономом в родных краях и... потом, отбывая срок в сталинских лагерях.

Андрей до конца жизни будет благодарен Ивану Васильевичу, как доктору, за ту нравственную прививку, что сделал он ему за время совместной работы.

Закончив разнарядку, бригадир –

агроном третьей бригады брусовского колхоза им. Кирова Авдеев Андрей решил съездить в поля. Он зашёл домой, чтобы взять видавший виды старенький велосипед, когда-то выменянный отцом Андрея, Иваном, на Сормовском рынке за пятнадцать стаканов самосада, что было редкой роскошью в те годы.

Мать копала в огороде и, заслышав шаги, поднялась от грядки.

– Иди, поешь, сынок. Завтрак в загнётке, ещё горячий.

– Спасибо, мама. Рано ещё. Я сначала до яровых доеду, – ответил сын.

Солнце не успело иссушить росу, и она светилась цветными огоньками на придорожной траве.

Поле раскрылось сразу за последними домами родного села. Открылось широко и зовущее. Пашни лежали под синим небом, в раме зелёного лесного массива. Так было неделю назад. Так было по прошествии последних двух дней. А сегодня...

Сегодня пашня исчезла. Андрей оторопело остановился: на пашне плотно лежал и слегка роился зелёный коврик. Он начинался от дороги, поднимался на взлобок и сливался с густо – зелёными кустами, что живуче вцепились в крутизну балки, уходящей к лесу, в сторону Цыганского доля.

Это была его вторая весна в качестве бригадира – агронома. И он ждал этого дня. Для этого он служил в армии, для этого жил. И сейчас радуется, как неожиданный находке, как чуду, этой только что пробившейся и жадной для роста ещё безликой щёточке всходов

Бригадир был рад. Семена взошли хорошо. Был уличен тот самый момент, когда в земле было много влаги и тепла.

— Эх, — подумал Андрей, — дяди Егора нет сейчас здесь.

Это он в канун сева был с агрономом в поле. Взял горсть земли, сжал её в кулаке, потом разжал его, понюхал рассыпавшийся на ладони комок, помолчал немного и сказал: «Пора, Андрюха!»

Бригадир был потомственным хлеборобом. Дед и отец тоже были земледельцами, любили и холили землю, и она отвешала им добрыми урожаями.



Пашня дышала теплом. Авдеев опустился на колени, стал гладить упругие стрелочки всходов яровой пшеницы. Свежая роса прохладой осыпалась в горсти.

За спиной по дороге раздался цокот копыт. Андрей не встал с колен, не повернулся. Ждал, пока лошадь не проскочит мимо, но она сходу остановилась.

— Что вы тут делаете, Авдеев? — услышал он голос председателя.

Бригадир встал, стряхнув с рук росу, повернулся.

На дороге, у серого жеребца, стоял Иван Васильевич. Он перешагнул через канаву, подошёл, встал рядом. Пожали в приветствии друг другу руки.

— Что у вас? — спросил председатель.

— Всходы! Дружные всходы! — с радостью ответил Авдеев. — Одним словом — малина!

— Какая малина?

— Я так, к слову.

Иван Васильевич тоже опустился на корточки и стал разглядывать молодую зелень.

— Вы мимоходом ехали?

— И мимоходом, и специально к вам.

— Для проверки? — осведомился бригадир.

— Нет. Что вас проверять? Дела налицо. Я только что от цыган. В табор к вожаку свататься ездил. Они уже месяц как вновь объявились.

Андрей и сам слышал доносиившиеся из-за леса песни и поднимающийся над долом дым, да и дети, гонявшие коней в ночное, сказывали, однако поинтересовался:

— А свадьба чья?

— Да я не одну невесту сватать хотел, а весь табор снова, как в прошлые годы, на уборку урожая. Кони у них хорошие, не чета нашим, да и молодых цыган много, — Иван Васильевич посмотрел в сторону леса. — А работают как! С гитарами, песнями. Жаль только, Кафрана в таборе не было. Это их барон... Да что я тебе рассказываю? Ты и сам знаешь.

— Знаю. Ну и что?

— Ты, Андрей, через недельку — другую наведайся к ним в табор. Вожак у них вроде бы ничего. Грубоват только. Держит табор в узде.

- А как сватать-то?
- Ну, пригласи их на помошь в страдную пору. Если плату сеном и овсом запросит — соглашайся. Да. Забыл было... Возьми с собой поллитровку — сговорчивей будет.
- Председатель открыл притороченную к седлу сумку, достал бутылку «Сучкá».
- Возьми. Как сосватаешь — подаришь.
- Иван Васильевич посмотрел в сторону крутого яра, который кромкой уходит к лесу, заканчиваясь берегом Вазы.
- В весенних видах на урожай в твоей бригаде чувствуется хороший задел, — похвалил его председатель. — Это уже половина успеха. А вторая — отличное качество полевых работ, соблюдать правила агротехники. У тебя и в этом всё в порядке. И вдруг спросил:
- А каковы виды нынче на покосы? Покажи результаты вашей битвы на исполкоме. Поехали.
- А что если пешочком? — предложил Андрей.
- Добро, бригадир.
- Авдеев водил председателя по полям и лугам часа полтора. Пашни под яровыми оперились всходами. Вот-вот полезут из земли мягкие ёлочки всходов льна. Ивану Васильевичу самому вдруг показалось, что всё это он видит впервые, хотя председательствует уже несколько лет. Видел всякое. Он ходил за Андреем, невольно прилаживаясь к его молодому шагу. Молча смотрел, молча слушал агронома. У края озимого поля Андрей остановился.
- Отсюда начинается пастбище, а по ту сторону Вазы — сенокосные угодья.
- Вижу. Это здесь убрали редколесье?
- Да. Из-за него и был весь сыр-бор на исполкоме. Но в деле мы достигли компромисса. Что не нужно, извели на дрова для школы, а кулисы оставили. Будет бурёнкам в

жаркий полдень во время дойки в тени постоять, но главное – покосы увеличились на двадцать гектаров!

– Понятно. Молодцы! – снова похвалил председатель и помолчал. Он понимал молодого бригадира-агронома: ему нужно утвердиться в своих собственных глазах, самому довести начатое дело до конца, почувствовать вкус полученных знаний в сельхозинституте, помноженный на вкус плодов будущего успеха. Здесь в него поверили. У него здесь свои корни и оборвать их никак нельзя.

По расчищенному окультуренному покосу шли обратно к шленичному полю. Долина, уходящая широкой ладонью вглубь леса, густо зеленела молодым разнотравьем.

– Ну что, Авдеев? Ты отличный экскурсовод и хозяин! – сказал председатель и вдруг, улыбнувшись, напомнил о разговоре с Егором Денисовым.

– Как там сосед твой, Егор, об агротехнике говорит? Ха-ха-ха!.. А ведь он на половину прав: «Два дождика в маю – и агроном с поля по х..!» Ха-ха-ха!..

– Да. Дядя Егор – большой оптимист, – вставил бригадир, – но не доверяет на наших землях минеральным удобрениям, а больше отдаёт предпочтение органике и опыту предков. Такой уж у него уклад. Я к его советам прислушиваюсь. Они действительно влияют на успех в земледелии, и присказки его верны.

– Ну-ка, ну-ка! – поинтересовался Иван Васильевич.

– Ну, например, про дождик в маю. Смотрите. Дождик был позавчера, а сегодня видим результат присказки дяди Егора. Конечно, главное – агротехника, но привязать приметы, опыт старших не помешает.

Андрей говорил. Председатель слушал.

– Вот ещё пример. И этот пример на виду.

Бригадир показал на другую сторону дороги.

— Вот яровое поле, и на нём технология наших предков: рожь с пшеницей любят крух, а лён — пух.

— Посей овёс в грязь — и овёс будет князь,— добавил председатель. — Да, народный опыт — великое дело. Им надо дорожить и пользоваться.

И вдруг:

— Время к полудню, а мне надо ещё в четвёртую бригаду... Так не забудь цыган сосватать!.. Дождик в маю... — шутливо произнёс председатель.

Он молодцевато подошёл к коню, легко забросил тело в седло. И не мудрено...



Бывший красный конник, участник гражданской войны. Воевал в степных краях юга Башкирии. Эскадрон, которым он командовал, не раз встречался в конных лавах с частями войска генерала Каппеля.

Видел лично коменданта Михаила Васильевича Фрунзе. Это он вручал ему первый орден Боевого Красно-

го Знамени за прорыв на одном из участков Южно-Уральского фронта. Когда Иваново-Вознесенский полк влился в состав Чапаевской дивизии, у Ивана Васильевича была страстная мечта — увидеть живьём легендарного начдива. Не довелось...

Бывало, сидя с боевыми друзьями у ночного костра, красный командир вспоминал отцовский родной дом...

Тяжело, со слезами на глазах провожали его родные. Он, семнадцатилетний парень, вывел со двора коня, единственную опору семьи. Обняв и поцеловав родителей, вскочил в седло.

— Береги себя, сынок... Возвращайся скорее... — плача, напутствовала Степанида сына.

— Не подведи... Нам с матерью больно будет, — пряча слёзы, говорил отец. — Поезжай скорее. Не мудри рассудок...

Иван, сделав «свечку», опустил жеребца и галопом, не оглядываясь, вскочил из родного гнезда...

Сменил в боях трёх коней. Первого, что взял со своего двора, Иван потерял в кровавой сече на берегу реки Белой. После войны ещё долго мотался по среднеазиатскому региону, добивая разрозненные банды басмачей. Бывал в дозорах с винтовкой в руках по охране колхозных полей и ферм. Вступил в партию. Потом годы учёбы на партийных курсах, работал в воинских частях.

Домой заявился лишь к середине тридцатых, когда на селе уже заканчивалась колхозизация. Вернулся с семьёй: женой Марией Петровной и тринадцатилетним сыном Дмитрием.

Иван сохранил и привёз воинскую форму и щеголял в ней в красные праздники.

Ехали через Горький, и на сормовском рынке приобрёл добротного жеребца, словно знал, что он ему потребуется в деревне, как раньше.

Вновь приобщённого к земле молодого энергичного коммуниста заметили в районе и вскоре забрали в райком на должность заведующего сельскохозяйственным сектором.

Бывший красный командир Иван Варёнов, куратор колхозов, сразу повёл свою линию: то поставит какого-то нерадивого руководителя по стойке «смирно», кому-то сделает поблажку, то выдвинет свою, не свойственную тому времени идею.

Из сельхозартелей стали поступать сигналы на неуставные действия райкомовского работника, за что часто получал партийные взыскания. Но не «партийные» мысли и идеи продолжали витать в голове «неуставного» коммуниста.

Однако, умного и талантливого коммуниста партия не хотела терять. Устав от Ивановых «безыдейных» идей, райком отправил его в « ссылку », в родную стихию председателем в одно из крупных хозяйств района – Брусовский колхоз им. Кирова Кромского сельского Совета. Отдалённое от райцентра на двенадцать километров по бездорожью хозяйство было средней руки. Под неусыпным контролем властного главного агронома, по совместительству секретаря парткома Надежды Михайловны Скворцовой, по мнению первого секретаря райкома Бачева Владислава, новоиспечённый председатель не будет купаться в море идей, и всю свою энергию направит на выполнение планов партии и правительства по дальнейшему развитию сельского хозяйства.

Став председателем правления колхоза, Иван Васильевич не изменил своего отношения, любви к лошадям. Председательский тарантас отдал главному агроному Надежде Михайловне, а сам оседлал привезённого жеребца, по кличке Лесок.

...Всё ещё хохоча над Егоровым дождиком, Иван Васильевич тронул поводья.

Брусовская водяная мельница на реке Та-

ех стояла издавна. Считай, двенадцать деревень в округе обслуживала она. С образованием двух колхозов в Кромском сельском Совете брусовская мельница стала межколхозной. Помолом зерна занимались зимами. Вёснами, во время паводковых вод, дамбу сносило, и только после покоса, пред уборочной, её восстанавливали вновь. И так каждый год. Из деревень с лопатами, носилками и тачками съезжались люди. Из карьера на правом берегу реки, около лесного массива Кулиги, брали бульжник, глину и с того же берега начинали насыпать запруду. Плотина получалась широкой – в шесть саженей, чтобы потом по ней могли с обеих берегов приезжать конные подводы. Перекрытый Таех становился полноводным, и в нём водилось много рыбы и раков. В нижнем омуте, что под дамбой, водились налимьи и щуки редких размеров, до шести килограммов. Дед автора повести Василий Михайлович однажды выловил щуку семи четвертей в длину. Одной икры полведра выпустили, а сердце размером больше спичечного коробка, покинув чрево хищницы, билось десять минут.

В канун войны после очередной запруды реки на сходе представителей пайщиков, пользователей мельницы, по предложению председателя Брусовского колхоза Ивана Васильевича Варёного новым мукомолом выбрали Егора Денисова – умного, уважаемого человека. Тот согласился. Работа хотя и тяжелая, пыльная, но сытая, что было очень важно в то, полуходное время. За помолом всегда стояли очереди, и жернова крутились день, и ночь с осени до полых весенних вод, делая перерывы на день-два для профилактики и ковки камней.

Денег в колхозах не было, и платой за помол были магарыч: с определённого веса размолотого зерна взималось определённое количество фунтов муки.

Семья мукомола Егора Денисова, не в пример другим жителям Брусова, жила не бесхлебно. Анна Саввична, жена Егора, чаще иных пекла белый хлеб и булки и каждый день в любую погоду с узелком направлялась на мельницу. Несла мужу поснедать¹.

Так и жил Егор на мельнице, отлучаясь только по субботам во второй половине дня. Баня для русского человека – святое дело! А так, по будням, горит печурка, потрескивая поленьями, над ларём с помолом висит лампа – семилинейка, на стене висят ходики, тихо и глухо отстукивая время в запылённом мукой пространстве, да монотонно шуршат жернова. На топчане сидит Егор с крупным верным псом Дружком.

Но поработал Егор на сытном месте недолго – года три-четыре. Как-то после очередной субботы, мельник, оставив собаку на топчане, надел полуушубок и пошёл к водяному жёлобу, чтобы поднять заслонку – шандору для пропуска воды на колесо. Первая попытка не имела успеха: мороз припаял перегородку к краям жёлоба. Тогда Егор встал в пустой жёлоб, стал раскачивать её, чтобы разрушить образовавшуюся наледь.

Освобождённая от ледяного шва, перегородка легко поддалась – и полуметровая толща воды, как поршень, двинулась под уклон и, сбив мельника с ног, понесла на маховик. Десять метров он пролетел в одно мгновение. Поток с шумом и брызгами ударил по лопастям, и колесо пришло в движение. Подкладка полы полуушубка Егора, как только его швырнуло на маховик, зацепилась за шпоньку – крепёжный деревянный болт у краёв лопасти, и он, влекомый колесом, ушёл в глубину омута…

Почувяв не доброе, собака забеспокоилась. Кинулась к двери, но она отворялась внутрь, и Дружок ничего не

¹ Поснедать – обед (диалектное)

смог сделать. Беспокойство собаки нарастало. Она громко лаяла, кидалась на дверь, с урчанием грызла скобу.

На высоте метра от пола находилось единственное маленькое окошко, выходившее наружу как раз в сторону омута для наблюдения махового колеса мельницы. Пёс несколько раз вставал лапами на его маленький проём. Наконец, он, разбежавшись, удариł лапами и мордой в запылённое стекло и, словно торпеда, вылетев из окна, плюхнулся в омут. Выскочив на берег, и нигде не увидев хозяина, жалобно завыл.

Маховик в две сажени диаметром, не отпуская мельника, уже в пятый раз отправил его в тёмную глубину ледяной купели. Но вот Егор снова показался из-под жёлоба на верху колеса. Собака, дождавшись, когда хозяин опустится пониже, прыгнула на маховик. В потоке ледяных струй и брызг она вцепилась зубами в край полушибка и стала яростно рвать его, сдирая со шпонки. Достигнув поверхности воды, Дружок не выпуская из зубов полушибка, поплыл к берегу, увлекая за собой обессилившего, но живого хозяина...

Сломанной ногой да простудой отдался Егор Денисов в то морозное январское утро.

Когда отложил костили, мельницу уже можно было забыть.

Хромого Егора определили в бригаду конюхом вместо арестованного Ивана Лагова.

Дружок верно служил хозяину до конца сороковых.

В конце войны, а особенно в послевоенные годы, в здешних местах появились гривастые волки. Крупнее серых местных, с рыжими гривами. Говорили, это чужаки с запада пришли, потревоженные войной. Ох, и лютивали приилье разбойники! Не дожидаясь темноты, стаями заходили в деревни, и длинными, зимними ночами в округе наступала тишина. Морозную стынь наполняли лишь звуки голодных воющих глоток. Детей засветло уводили с

улиц домой. Сосед боялся сходить к соседу. Даже собаки, оставшиеся в живых, замолкали в подворотнях от страха. Обнаглевшие пришельцы не боялись людей, подпуская к себе на ружейный выстрел. Их десятками убивали местные охотники во главе со Степаном Фроловым, но волков, казалось, не убывало. Некоторые особи, не боясь тусклого света в оконных проёмах, поднимались лапами на обвалку стен, заглядывали в окна парами зеленоватых огоньков. Звери разгребали низкие соломенные крыши дворов, проникали внутрь, резали скот. Были случаи – волки нападали на людей в лесу или на окраине села.

На дворе стояли крещенские морозы. В одну из суббот Егор Денисов, не изменяя привычке, напарившись в баньке и приняв на грудь, задремал. Анна Саввична тоже уже отошла ко сну. Их верный пёс Дружок остался на улице у ворот на цепи. Проснувшись утром, хозяин вспомнил о собаке и вышел на улицу...

У ворот лежали два волчьих трупа с разорванными глотками. Третий – немного поодаль. Вместо Дружка на истоптанном кровавом снегу Егор увидел цепь с ошейником да клочья шерсти.

...Дорого, по-собачьему счёту, Дружок отдал свою жизнь.

Долго горевал Егор о собаке, считая себя виновным в её гибели. Дождавшись весны, он выкопал около хмелёвого плетня яму и в ящике, как в гробу, похоронил цепь и собачий ошейник. Смастерили скамеечку и часто подолгу сиживал у могилки четвероного друга.

С той поры Егор больше собак не заводил.

Кличка у людей в деревне – привычное дело. Она рождается и прилипает к человеку по разным причинам: из-за физического недостатка, какой-нибудь любимой поговорки или яркой фразы, однажды сказанной деревенским острословом.

Проходило время, и если кличка приживалась, то и представитель следующего поколения мог носить этот ярлык.

Прозвище иногда точнее фамилии определяет человека. Иногда фамилия, словно насмехается, так как ему не соответствует.

Однажды, рассказывая о гражданской войне, председатель колхоза Иван Васильевич вспомнил красноармейца из своего эскадрона, по фамилии Подопригора. Ну, истинная штакетина, прибитая в ограду палисадника.

Или к примеру, колхозный кузнец Степан Фролов носил кличку Музгар. Так звали его собаку, а его родное имя Степан перешло в отчество – и несколько лет в конце тридцатых и сороковых годах в селе Брусово жило два Музгара: Музгар – собака и Музгар Степаныч, хозяин собаки, то бишь, колхозный кузнец. У кузнеца семья: жена Степанида и два сына. Старший Виктор – офицер Щуйского военного лётного училища, а младший Сашка – при дёме. В свои двенадцать лет Сашка «качет» мышцы у отца в кузнице, работая молотобойцем.

Сам Музгар Степаныч пошёл в отца: и кузнец, и охотник, и травник. Помогая людям, лечил их настоими трав, заговаривал детские грыжи, зубные боли, суставные вывихи, но Белого лекаря, как ещё называли кузнеца, никто в округе колдуном не считал.

Музгар Степаныч – жизнерадостный, стихов не писал, но любил поэзию Блока, Северянина, Есенина и в случае разговора о поэзии или о литературе вообще оживлялся. Куз-

нец был умным, грамотным человеком. Хмельное зелье употреблял редко и считался трезвенником, уважали Музгара в деревнях по всей округе. Он мог подолгу рассуждать о жизни, о любви, ненавязчиво говорить о религии, но в спор на эту тему не вступал, считая это непристойностью. Если случались разговоры на тему семейных уз, Музгар Степаныч направлял их в русло взаимного доверия.

Жена должна уважать мужа. Не угодить ему во всём, а именно уважать, — говорил кузнец. Жена должна помнить и то, что кроме любви, нужна ещё и привычка не требовать от мужа чего-то постоянно. Любовь должна быть выстрадана и, если хотите, выстрогана, как нужный в вашем хозяйстве брускок крепкой дорогой древесины. И, заваривая свадебную бражку в семейной чаше, надо помнить, что напиток в ней, по выражению уважаемого Денисова Егора, должен быть радостью с небольшим количеством грусти, ведь пить вам придётся самим, дегустируя его всю жизнь.

Музгар Степаныч брал уроки немецкого языка у учительницы латыни Зинаиды Николаевны Безруковой, за что деревенский острослов Афонька Пушкин дал ему прозвище «интеллигент с кувалдой», на что он реагировал сдержанно, как подобает умному человеку. И назвал его так Афонька не потому, что его орудием труда был молот, а что в споре, если он случался, слова Музгара были точными, вескими. На шутку, кому-то кажущуюся оскорблением, кузнец отвечал шутливо с юмором, тем самым гасил возможный конфликт.

Как-то воскресным летним вечером, возвращаясь с очередного урока. Музгар Степаныч стал свидетелем непристойного инцидента: дрались братья Костылёвы. Три брата не могли поделить отцовский дом после его кончины, хотя у каждого были крепкие избы, жены, дети.

Кузнец подошёл к ним.

– Вы что, ребята? Что за мордобой?

Братья на миг остановились.

– А, это ты, интеллигент? – произнёс старший Сашка. – Что тебе? Аль не видишь – братья тешатся?

– Хороша потеха! Смотрите, как свои фотографии разукрасили, – с сожаление сказал кузнец.

Тяжело дыша, братья, как будто ничего и не было минуту назад, уселись в ряд на лужайке. Они уважали Музгара, а в данный момент, может, и его силу. Окажись на его месте кто-то другой... Братья не любили, когда кто-то встревал в их отношения. Зная их характер, даже жёны не мешали им, молча, ожидали окончания их кулачных боёв.

– Ну, вот и гут! – одобрил братьев Музгар Степаныч. – Давайте побалакаем...

– По-немецки что ли? – спросил средний брат Лёшка-Лохадёнка.

Странно, но Лёшка Костылёв в одном лишь слове «лошадь» не выговаривал букву «ш», за что получил прозвище Лохадёнка.

– Какой немецкий? Ладно, что свой родной ещё понимаете.

Кузнец присел с ними на лужайку.

– На кой ляд нам германцы? Война что ли? – снова заговорил Лешка-Лохадёнка. – Так давай – кулаки ещё крепкие.

Он посмотрел на младшего и поды托жил:

– Не все ещё обмолотили о Васькину рожу, хватит и германцам.

– Ладно ты, Германия... Давай, кувалдометр, говори. Учи уму-разуму, – без злобы и ехидства произнёс Сашка – старший брат, отличный плотник, местный скульптор можно сказать.

— Да чему мне вас учить, ребята? Знаю я вас. Сами грамотные, умные, руки у вас золотые, трудолюбивые мужики,— многозначительно с юмором произнёс кузнец,— вон, по паре короедов настрогали...

— Ха-ха-ха!.. Детей строгать — шибко грамоты не надо. Можно и без университетов! Сашка поднял вверх руку, оттопырив указательный палец.

— Главное — вытряхнуть их из лаптей, поднять, воспитать умными, смелыми и грамотными людьми, чтобы они могли постоять за себя, не то, что мы... безмолвные, смиренные овечки, загнанные пастухом в загон. Загон — это плохо!

— Что тебе плохо? — раздался с крыльца голос Софьи, Сашкиной жены. — Поди, хорошо. Вон, хари-то разукрасили... Постыдились бы.

Софья, слыша, что потасовка братьев утихла, вышла на крыльце с ведром воды.

— Ну, что? Пропал пыл-то, или охолонуть кого?

Сашка, услышав жену, изменил ход мысли.

— Плохо то, что жена моя, Софья, не даёт на «Су-чок», чтобы похмелиться.

— Да сбёгла я! Сбёгла сама, лёд вам в штаны! Нате, захлебнитесь!..

Она подошла и, вынув из-под передника поллитровку с красной головкой, небрежно опустила её к ногам мужа. Отошла снова к крыльцу.

Васька потянулся было к бутылке, но Сашка остановил его и, увидев у слабовольного младшего брата под носом две свечки, закричал жене.

— Софья! У тебя напузник при себе?

— Чай, видишь. На кель тебе он?

— Подойди к своему девзерю, дай ему краешек, а то не ровен час у него все мозги вытекут, а ведь его тыкве думать что-ничто, а придётся, — он хохотнул.

— Фу, охульник. Сам-то свою свёклу утри. Васька шмыгнул носом, а Сашка вновь жене:

— Неверно ты говоришь, жёнушка, захлебнись. А как ты одна из говна детей наших поднимать станешь?.. Молчишь? То-то и оно!..

И кузнецу:

— Ладно, просвещай, умный человек.

— Да вы, я вижу, и сами не дураки. Только не надо вот так беспричинно... — спокойно заговорил кузнец, присаживаясь поудобнее, — Вот ты, Сашка, о детях. Это хорошо! Надо, чтоб у детей родительский дуэт был.

— Я согласен, Степаныч. Пусть наши дети ходят по земле, пашут её и сеют хлеб: надо же кому-то кормить страну. Пусть топчут босыми ногами навоз, собирают в полях колоски. Пусть! Но пусть они будут одеты, обуты и сыты! Ведь мы, уважаемый Степаныч, растим хлеб! У хлеба мы, а дети наши едят его пополам с льняной шелухой, берёзовой корой, с мякиной... Едят его в прихлёбку со щами из крапивы и осота... Уехать бы куда...

— Так-то оно так, — вставил Музгар Степаныч, — только ведь кусок слаще бывает в чужом рту...

Но Сашка разошёлся, давая волю языку.

— Неужели товарищ Сталин не знает о наших нуждах? Ведь всё на виду. Или его обманывают, давая листовые отчёты — сведения о благополучии народа? Или...

Степаныч с братьями молча слушал нагоревшую Сашкину тираду.

— У нас что получается? Как в той поговорке: «Отдай жену дяде, а сам иди к б....» Наверно это! Человеку, который трудится, должно быть хорошо!

Он зачем-то поднял бутылку, встряхнул её, но не откупорил.

— Свободы у нас, Степаныч, нет! Полёту мысли. Не слышат нас, крестьян, там, наверху. Или просто не хотят

слышать. Конечно, меня, если «услышишат», могут за задницу взять и на Колыму... Там места всем хватит...

Он в упор посмотрел на кузнеца. Братья, вроде прозревев, молчали.

— Только ведь я не против товарища Сталина, и в словах моих никакой крамолы. Люди сами всё видят, и шкура у них ой как чувствительна! У нас в деревнях от свободы один воздух остался, но его-то, даст-то бог, не отнимут.

Сашка снова подбросил бутылку, поймал её и словно в никуда сказал:

— Что у нас нынче в карманах? В одном — заря занимается, в другом — смеркается... Ломишь, ломишь, думаешь, думаешь и от дум этих как беременная баба становишься.

— Вы и спускаете таким образом пар,— подытожил Степаныч.

— Вроде того. Кто-то сказал, что раз в месяц мужику нужно из своего тела дурь выгнать. Только не прав тот человек, ой не прав! Не дурь это, не блажь, а тоска безысходная, усталость, но не от работы... А забросишь стаканчик за воротник и жизнь, пусть на какое-то время, другой кажется. Нарядной, как в детском калейдоскопе...

— Я с тобой, Сашка, в большинстве согласен, кроме одного. Водкой этому не поможешь — счастье не умножишь, боль не уймёшь, но всё это вместе усугубить может, отодвинуть жизнь от тебя на неопределённый срок.

Музгар Степаныч вновь обвёл взглядом братьев.

— Мужики, хотите совет?

— Валый!

— Если с вами, не дай бог, что-то случится такое, что ни есть, ни пить, ни дышать не даёт, надо не пить (от этого с ума можно свихнуться), а читать страницы священного писания и поэзию. Ей — богу, помогает...

Но уж если вы всё-таки по какому-то случаю взяли себе в помощники спиртное, то пить его надо в меру, и пусть оно будет союзником в ваших действиях, а не врагом, не разрушителем вашей морали, совести и здоровья...

В селе Брусово помнят такой случай. Около про-гона, ведущего от деревни к Цыганскому долу, стояла изба Разживиных. Мать Елена, доярка колхоза, дочь Люба и два сына. Младший Генка — юбка от роду не ходил. Его сверстники уже пошли в школу, а Генка — юбка сидел, как японец за миской риса и передвигался только на четвереньках. Парнишку возили по больницам, но врачи утверждали, что ребёнок здоров, без каких-либо физических отклонений, если не считать самого малого: он не выговаривал букву «Л», но это дело логопеда.

Вместо хлеба он говорил «хеб», молоко — «моко», а сестру Любку — «юбкой», за что деревенская детвора прозвала его Генкой — юбкой.

Несколько раз осматривал Генку-юбку местный Белый лекарь — Музгар Степаныч.

Положит, бывало, парнишку на спинку и ну «колдовать» над ним: сгибал и разгибал ноги, растирал суставы настоями трав, делал глубокий массаж — ничего не помогало.

Музгар Степаныч успокаивал Елену.

— Подожди, мать. Со временем всё образуется. Сын твой здоров. У него какой-то внутренний страх перед ходьбой. Успокойся и жди. Ему должна помочь какая-то, ну, третья сила что ли, то есть Его Величество Случай, какая-то неожиданность, которая подтолкнёт Генку к самовыражению.

Как-то летним вечером играли дети в «попагоняло». В большом квадрате ставили на кон одного «по-

па» из городошных фигур. Битой выбивали его с коня по-очерёдно и гоняли вдоль улицы. Игра бывала затяжной, и обратные бега устраивались на длинные дистанции. Дети шумно кидали биты, а Генка-юбка сидел на завалинке.

В это время кузнец Музгар Степаныч прогоном возвращался из леса с охоты. Впереди его бежала собака Музгар. Выбежав из-за угла дома Разживиных, кобель остановился около Генки-юбки и, глядя на него, громко беззлобно гавкнул. Тот от неожиданности кубарём скатился с завалинки, встал на ноги и, крича «лай-лай-лай!», помчался вдоль деревни, вслед бегущей ватаге детей.

Елена с дочерью только что вышли с огорода. Увидев бегущего сына, не знали, что делать: кричать, плакать или радоваться.

Так в одно мгновение Генка-юбка избавился от двух недугов: стал выговаривать букву «Л» и научился ходить. И хотя Генку «вылечила», если можно так сказать в этом случае, собака Музгар, людская молва записала тот факт на счёт её хозяина.

Дождь собирался пойти с самого утра, и природа насторожилась: всё как-то прижалось к земле, ожидая его появления.

Андрею это ожидание поднадоело, а тут ещё солнце, воспользовавшись случайным просветом меж облаков, пробежало по земле. И хотя тучи тут же спохватились, сердито и быстро закрыли просвет, бригадир решил: надо доскирдовать клевер, пока нежаркая погода.

Распределив наряды – задания и дождавшись, когда колхозники уехали в поле, Андрей пошёл готовить вчерашние сводки.

В комнате было жарко, душно. Он раскрыл окно, и в комнату хлынула такая же истома.

«А всё-таки будет дождь», – подумал бригадир, видя, как бойко с громким чириканьем в дорожной пыли купаются воробы и низко, едва не касаясь земли, проносятся стрижи и ласточки.

Во второй половине дня подул ветер. Тёмные тучи поплыли, низко опускаясь к земле. С их днищ свисали куски ещё чернее и, казалось, вот-вот упадут на раскалённую земную грудь. Андрей взял велосипед и покатил на Барское поле, где убирали клевер. Дождь застал его уже за деревней, на косогоре, откуда видно было: колхозники, успев управиться с работой, спешили домой.

Рубашка на бригадире сразу промокла. Дождь хлестал по лицу, велосипед закидывало по скользкой дороге, и он подумал, что ему сейчас уже некуда торопиться, что ему всё равно, идёт ли дождь или светит солнце: скирдование клевера в бригаде закончено, и теперь надо браться за дальние луга.

Дождь неожиданно кончился, и природа, сбросив с себя грозовое оцепенение, вновь заговорила своими привычными голосами. Высоко в небе, уже очищенном от туч,

звенел жаворонок. Наливаясь колосом, рожь, умытая дождём, наклонилась к дороге.

«Хорошо бы искупаться!» – подумал Андрей. Он поехал по обочине дороги вниз, туда, где катит свои воды прохладная красавица Ваза. Подъехав к старому мосту, он огляделся. Снял одежду, прополоскал её и, выкрутив, освободив от воды, повесил на руль велосипеда. Его слух уловил какие-то звуки. Прислушался... В лесу слышался перебор струн и негромкое пение, над Цыганским долом поднимался дым. Он уже знал от председателя, что цыгане приехали давно, видел их сам, шляющихся по просёлочным дорогам и деревням. И ни о чём больше не думая, на гише выбежал на чистый берег. Обогнув кусты, он с разбегу булыхнулся в воду и... тут же остановился, остолбнев: перед ним в нескольких шагах почти по пояс в воде стояла молодая женщина, с виду неместная. Наклонив голову, она отжимала длинные волосы. Мелкие воды гладили её тело, бесшумно и ласково обходя её в мирном течении...

Смотря на обнажённое молодое женское тело, мы удивляемся: как природа может собрать все истинные красоты и с юношеским пылом вложить их в своё творение! Лицо твоё при виде женской красоты может оставаться бесстрастным, но в сердце тот час же может возникнуть чувство, называемое любовью. Любовь – это ключ ко всем остальным человеческим чувствам, который открывает, вызывает и развивает в нас как самые прекрасные, высокие, так и самые низменные страсти. И если эти чувства не переплетаются между собой, нередко бывают краткими.

Всё, что видел Андрей, видел несколько мгновений, так как незнакомка сразу подняла голову, тихо вскрикнула и быстро погрузилась в мелководье.

– Как это подло!.. Уходите прочь!

Андрей не слышал её слов. Словно заворожённый, продолжал смотреть на молодую темноволосую женщину, как на только что распустившийся изумительной красоты цветок, невесть откуда появившийся в здешних местах. Не отдавая себе отчёта, он сделал шаг вперёд.

– Не смейте! – она сделала было движение, собираясь плыть, но остановилась. И вдруг... встала во весь рост и, сверкая ослепительной красотой, пошла на Андрея. И он, повинувшись какой-то силе, как во сне, закрыл глаза, повернулся к берегу. Выйдя из реки, он обернулся: мелководная Ваза в одиночестве тихо несла свои воды...

Прошло около года.

Этот случай Андрей и цыганка Галина может, и забыли бы, как сон, если бы чувство, вспыхнувшее тогда на реке между ними, не переросло вскоре в НЕЧТО большее. Но не знали они, что это НЕЧТО, соединив их, пройдёт через жизнь и семью их страшной трагедией.

В тихий безветренный день луга распро-

стёрты недвижно, и тогда, кажется, что само время остановилось. Но стоит сорваться ветру, как всё меняется, и время, точно очнувшись, навёрстывает всё, что упустило в невольном своём созерцании. Из-за дальних холмов, подгоняемая ударами грома, надвинется иссиня— черная туча, выльется на луга ливнем, а уйдёт — они засияют двойным светом: чисто умытой травы и просветлевшего солнца.

Так и живут луга: то встречая каждый день серебряным блеском росы, то провожая его медленно тающей дымкой заката.

Идёт время... Робко-зелёную нежность луговых трав начинает сменять спокойствие зрелости, которой больше присущи воспоминания, чем лёгкие летние сны. И приходит день, когда в лугах появляются люди, слышатся стрекотанье конных косилок, звон кос и весёлые голоса...

С вечера в деревнях там и там отбивают косы. Молотки на бабках выступают:

— Завтра-а в луга... Завтра-а в луга... Завтра-ра-а...

Сосед Андрея Авдеева, дядя Егор, уже второй вечер не покидает лавочку под тополями — погодками: топориком колет кленовые дощечки и вытесывает, вытесывает зубки. Оба Брусова несут ему грабли, и он, вставляя эти зубки, щурится одним глазом, оценивая работу, крутит грабли на весу, говоря при этом:

— Оно так... Грабли те хороши, что легки и ухватисты.

Луга по реке Ваза заливные, широкие. Каждый год, когда она войдёт в берегах после половодья, в ямах и колдобинах, поросших осокой, остаётся рыба: красноперистая щука и окунь. В деревне это время называется рыбной неделей.

Луга начинаются за балкой, переходя в Цыганский дол, и уходя далеко в лес. Нынче травы такие, что поставить

вечером слегу – утром враз и не отыщешь! Словом, на острую косу много покосу.

И вот он, заветный день!

Первым пустили бригадира: первый человек в деревне, и ему особое доверие.

У Андрея рубаха навыпуск, русоволос, крепкого телосложения, косьё в его ручищах как соломина смотрится. Бригадир косу заносит широко, замах сильный... И вот он первый, самый первый прокос. Как бражно, медвяно запахло травянистым соком! Пук травы переходит из рук в руки. Нюхают, разглядывают его, словно чудо невиданное.

Андрей остановился. Достал из берестяного кожуха оселок, поправил им лезвие косы и обернулся.

– Начали!

Косцы рванулись на травы. Дрогнула, закачалась зелёная стена. Косы выговаривали: «Спеши... спеш-и-и... спеш-и-и-и...»

Часам к десяти пришли женщины. От кромки леса показались цыганки, направляясь к покосу. Издали были видны их цветастые, нарядные индыраки.² Подошли шумной толпой, о чём-то говоря на своём языке.

Прасковья Авдеева прислонилась к стволу берёзы, под которой стояли в пирамидке грабли. Цыганки разобрали их, смешались с деревенскими бабами. Среди цыганок была молодая красивая женщина, словно и не их поля ягода: русоволоса, с иными, чем у цыган, чертами лица. Она подошла к пирамидке, поздоровалась просто:

– Здрасте...

Взяла грабли, повертела их в руках и отошла. Пойдя к соплеменницам, она временами посматривала на Прасковью. Знала: это мать Андрея. Они виделись уже не раз. Одобряя выбор сына, но тревожась за него, Прасковья при каждой встрече с цыганкой наполнялась каким-то

² Индырака – широкая цыганская юбка в несколько ярусов

внутренним трепетным восхищением и боязнью: «Госпо-
ди! Надо же, сколько одной дано. Не к добру это...»



...А косы говорят: «Спеши – спеши-и...» И вот за-
махали, задёргали граблями женщины: разбивают валки.
Зарумянились, запьяняли от травяного духа. Припекает

солнце. Денёк разгуливается, пахнет росой, молоком, со-ком разнотравья. Всех взвихрил, захватил азарт работы...

Но приходит время — мокрые мужицкие спины и руки затребуют отдыха. Уставшим людям захочется чего-то необыденного: расслабиться, окунуться во что-то такое, от чего отдохнули бы не только руки и спины, но и душа, встряхнуло б изнутри, наполнив тело новой силой.

Мужики присядут, напьются кvasу, закурят и как бывает, заведётся разговор о житье-бытье. Кто-то вспомнит и расскажет анекдот, да посолонее, чтобы всполохнулись от смеха. Тут без ветеринара не обойтись.

Весёлый, не старый ещё мужик, ветврач колхоза Николай Тенятов — шутник, кладезь лаконичных рассказов. Говорит серьёзно и спокойно, но стоит заглянуть ему в рот, как где-то там начинает клокотать, желая вырваться наружу, смех. Получив очередную порцию пошлости, что называется в народе «юмор ниже пояса», мужики ржут как кони. Однако им кажется мало.

— Ладно, Николай, — поднявшись и продолжая смеяться, сказал Лёшка-Лохадёнка, — расскажи, как тебя жена охаживала в постели у Зинки Шаховой? Ха-ха-ха!

Тенятов отнёсся к такой неделикатной просьбе весьма спокойно, тем более что обеих героинь на покосе сегодня не было.

— Даёк, она меня не охаживала, а ухаживала за мной, — спокойно начал рассказ ветеринар. — Ты, говорит она, пойдём, Коленька, домой. У тебя, грит, чай, своя постель имеется. Ночь ведь на дворе... Ну и весь наш танец испортила.

— Какой танец? Вы что, вместо любовных игр танцами занимались? — спросил молодой Валька-Маугли.

— Угу. Под патефон полечку «анис» танцевали. Ведь что такое танец?

— Ну...

— Танец — это, figurально выражаясь, трение двух полов о третий.

Распаренные жарким воздухом, хотя сидели в тени, мужики хохочут. Бабы, расположившиеся в сторонке под берёзами, повернули головы в их сторону. Верка Королёва, молодая баба тоже с юмором, зубастая (в рот палец не клади — враз откусит), переломившись в пояснице, приподнялась.

— Наверное, Колька Тенятов мужикам паутину на глаза вешает. Опять, поди, жеребячий яйца расхваливает. Он, портошник, и своим-то покоя не даёт.

Бабы заулыбались. Некоторые из них знали Николкины широкие штаны.

Лёшка-Лохадёнка, немного успокоившись от смеха, съязвил.

— Да какое тут трение? — Зинка что пожарная каланча! Ты же у неё кроме пазухи, ничего, наверное, не видишь?

— Ты не прав, Лёшка, — парировал Николай. — В этом танце центры всегда сходятся.

Новый взрыв хохота раздался над лугами. Лёшка-Лохадёнка не унимается.

— Ну и что же это за полечка «анис»? Растолкуй нам, непросвещённому люду.

— Этот танец,уважаемый Лёша, дабы слышали твои уши, танцуют в постели под одеялом в положении две пятки вверх, две пятки вниз. Вот и полечка «анис». Ты же, Лёша, женатый человек, детей имеешь, а на поверхлежащий вопрос просишь ответить другого мужа.

Под новый грохот смеха Николай хотел поставить точку. Но не тут-то было! Лёшка, уязвленный ответом, не унимался.

— Ну и жена твоя...

– В апогее блаженства нас с Зинкой будто током взмандарилио: раздался стук в дверь. Еж ей в трусики...

– Ха-ха-ха!

Женщины уже поднялись. С граблями в руках они шли к слегка подвявшим валкам. От берега Вазы на небольшом расстоянии друг от друга шли Андрей с Галиной. Мужики, ещё вздрагивая от смеха, вставали, разбирая косы.

– Пошли! – крикнул бригадир, и все двинулись к прокосам...

К середине дня сухое, пахучее сенцо зазвенит под граблями. И тогда его примутся метать в стога. Они встанут на лугах, словно сторожевые башни, подняв в небо копья-стожары.

Во время короткого отдыха, прислонив к их крутым бокам усталые спины, люди будут пить квас, есть блины, запивая их пахучей молочной пахтой. Откинуться на ещё не застогованные копны разнотравья, расправят усталые плечи. Не раз во время такого отдыха Андрей встретится с обжигающим взглядом из-под частокола длинных ресниц. Не раз Прасковья заметит этот незримый полёт двух сердец, молящих о встрече. Но это будет потом, после, как потом будут стоять стога.

Расстанутся с нарядами осины и берёзы. Ярко-жёлтыми лоскутками лягут на землю широкие багровые листья клёна. Разбойник-ветер опустошит оперенье Цыганского дола. Отшумит лес и тихо примет зиму, будто давно ожидал её. Стога потемнеют от прошедших осенних дождей. Их выбелят снега, накинув на их головы – макушки белые шапки.

Но это будет потом, а пока идут косцы и выговаривают косы: «Спеши – спеш-ши – спеш-ши-ши...»

Из зарослей молодого ольшаника, окружающего свиноферму, как вор, на ходу оправляя широкие штаны, вышел колхозный ветеринар Николай Иванович Тенятов и, оглядываясь на сомкнувшиеся кусты, направился к скотному двору.

Навстречу ему, не прячась, с куском льняного жмыха-дуранды в руке шёл сын свинарки Анны Коренёвой Валька-Маугли. Крепкий шестнадцатилетний паренёк был и свинопасом, и подручным матери, зарабатывая на свою трудовую колхозную книжку по 90-120 трудодней...

Хотя у Коренёвых был дом в Малом Брусове, они, кроме огорода, ничем там не занимались. Жили с матерью на свиноферме в кубовой – большом, 6 на 8 метров, помещении. В углу, слева от входной двери, находилась печь с двумя котлами. Один большой, на 15 ведер, другой маленький – для приготовления пищи. Над большим котлом для запарки отрубей и жмыха на корм животным висел зонт, как огромная перевёрнутая воронка. Он служил для вытяжки паров через отверстие в потолке. Около трубы и вытяжного зонта, ближе к потолку – палати, зимняя лежанка Валька-Маугли.

Ещё во время болезни Маугли Николай Иванович привёз из кузни чугунную плиту и, немного переделав печь, установил её над топкой и загнётком. Привёз белой глины, ведро обрата, развёл, как сметану, побелку и велел Анне побелить жильё.

– Аниушка, свинарник свинарником, а изба, то бишь кубовая, должна смотреться горницей.

До семи лет Валька ел мало, был слабым, больным ребёнком. Рост тихо, зато волосы его росли, как ивняк на берегу Спиритовки. Мать ножницами стригла сына наголо по пять-шесть раз в год. Только что постригла, глядишь – опять волосы до плеч.

Показывала Анна сына врачам редко: больница далеко. Местный фельдшер Ольга Таржунина, бывавшая у них не раз, говорил, что у ребёнка что-то с пищеварением, и давала направления в районную поликлинику. Но... Анна всё лучшее, что у неё было, отдавала сыну – не помогало. Кроме роста волос, у него ничего не менялось. Людей парнишка боялся и, если на ферму приходили чужие, убегал в лес. Деревенские, встретив Вальку-олосатика в лесу, знали, чей он, и окликали ничего не говорящим для парнишки прозвищем Маугли.

Председатель правления Иван Васильевич, зная о том, предлагал Анне подводу в любой день для поездки в райцентр и велел дояркам по очереди приносить ей по литру молока ежедневно.

Четыре года назад в колхоз приехал новый ветеринарный врач Николай Иванович Тенятов и, принимая в составе комиссии колхозную живность, увидел на свиноферме нечто: в клетке на соломе вместе со свиньями спал парнишка лет пяти-шести в одних трусиках, не первой свежести грудном слюнявчике и... с длинными волосами. Ну, настоящий Маугли из джунглей! Члены комиссии молча посмотрели на хозяйку свинофермы – молодую приятной внешности женщину. Анна растерялась, покраснела, покрылась потом.

– Это мой... сын. Больной он... Уродец.

Комиссия ушла, а к вечеру на свиноферму пришёл колхозный кузнец Музгар Степаныч посмотреть парнишку. Слышать о нём слышал, но в лесу не встречал, а увидев...

Анна рассказала кузнецу о сыне всё, что знала и что могла. Родился, говорила мать, с нормальным весом и ростом, а после годика как будто тормознуло что-то...

Валька кузнеца не испугался. Степаныч заглядывал ребёнку в рот, глаза, прислонялся ухом к животу, к сердцу,

ощупывал пальцами всё тело. Потом открыл свою сумку, достал леденец-петушок на палочке, протянул сладость парнишке и велел ему погулять. Тот выхватил из рук кузнеца леденец и... был таков!

— Вы уж простите его, Степаныч. Не знаю, что с ним и делать. Ума не приложу.

Кузнец не стал вводить Анну в суть его предположений и догадок о состоянии сына: он ведь не врач, однако велел ей зайти к нему завтра домой. Что за недуг такой вкрапился в тело Вальки, известно одному богу да, наверное, Музгару. Только уже через месяц парнишка в корне изменился: посвежел, стал шустрее, глазёнки стали выползать из впадин подлобья.

По совету Белого лекаря Анна поила сына настоями шиповника, черники, листьев лесной малины и... отваром красного мухомора. Варила супы из этого гриба, кормила им два раза в день, а утром натощак поила отваром.

Анна сначала засомневалась.

— Ты что, Степаныч? Да от него муhi дохнут. Потерять сына да в тюрьму? Боюсь...

Однако выполняла советы знахаря: время, еда, доза. Анна крестилась поначалу, давая сыну миску с супом — отравой, руки её тряслись, ночами сидела у постели сына — вдруг...

За этот месяц Белый лекарь четыре раза навещал Вальку по вечерам. У кузнеца светло становилось на душе, если мальчуган сидел: как бы встречая его, на крыльце кубовой. Музгар успокаивал Анну:

— Всё должно быть хорошо! Мы на правильном пути: у паренька появился аппетит, пропадает серость лица. Господь поможет ему. Однако, мать, лето короткое. К осени в лесу мухоморов больше становится. Собирай только красивые. Суши: лечение будет идти медленно, значит, бу-

дет долгим. Заготавливай больше черники. Пусть ест. У Вальки мутноватые зрачки.

Вскоре Валька-Маугли окреп совсем. К концу лета выглядел вполне здоровым. Доярки, приносившие по вечерам молоко, вместе с Анной радовались выздоровлению Вальки. Мать не могла нарадоваться на сына, молилась богу и Музгару Степанычу за его исцеление, а Маугли бегал около фермы, по лесу, ел ягоды, орехи, заглядывал по утрам и вечерам к дояркам, где получал кружку парного молока. Убегал в лес, часами мог раскачиваться и сидеть на деревьях, делал шалости, днями пропадая с глаз матери.

У Маугли прекратился буйный рост волос. В девять лет пошёл в школу. В десять — был настоящим помощником матери.

Первое время в школе Валька обижался на своё прозвище, но потом перестал, считая это своим преимуществом. Валька-Маугли во время физкультуры крутился на турнике так, что учитель не мог повторить его трюки.

Он борол ребят на год-два старше себя, чем ещё больше закрепил своё преимущество, хотя не гордился этим.

Чем больше взрослевший Валька-Маугли, тем дальше заходил в лес. Однажды, заслыша музыку и пение, пошёл на звуки и оказался на Цыганском долу. Увидел цыган и незаметно подошёл к табору. Это было для Маугли настоящей лесной сказкой! Дым от костров, шатры, нарядная одежда цыганок и куча орущих цыганят... Он больше часа просидел за кустами, очарованный увиденным. Потом стал приходить чаще и подходить ближе. Его заметили. Барон Кафран, узнав, что парнишка из местного села Брусово, не прогнал его. Так Валька-Маугли стал вхожим в цыганский табор.



В четырнадцать лет Валька-Маугли ходил с мужиками на покос и уборку зерновых и не раз встречал знакомую по табору одну из самых красивых молодых цыганок. Он уважал молодого агронома, знал его сердечные тайны и не раз бывал посредником — связным их отношений. Он хитро, как настоящий конспиратор, как зверь, пробирался в вечерний табор, связывая собою их любовные узы, и гордился этим...

Об амурных отношениях матери с ветеринаром, по-взрослев, Валька-Маугли догадывался, но не показывал вида: боялся обидеть её. Он любил свою мать.

«Обидишь — всю жизнь не простишь себе», — думал Валька и старался не замечать их связи. Если он чувствовал необходимость, то находил себе занятие или убегал в деревенскую кузницу к Музгару Степанычу.

Однажды в марте, по насту, Музгар Степаныч, возвращаясь из леса с охоты, решил порадовать Анну с сыном курятиной. Валька уже ходил в школу, и кузнец приехал к ним после полудня. Обвшанный глухарями вошёл в коридор, грохоча сапогами, без стука ввалился в кубовую. Увидев Вальку за учебниками, громко произнёс:

— Здорово, академик! Как дела, как наука?

— Здравствуйте, крёстный! Наука — ничего!

— Ничего, Валька, пустое место, а у тебя, слышал, дела идут неплохо.

Услышанное в приветствии Вальки слово «крёстный» обескуражило кузнеца. Он промолчал, хотя в душе у него что-то разлилось тёплой волной.

Анна, закончив раздачу корма свиньям, прямо в халате, почти следом за кузнецом Музгаром, вошла в кубовую. Поздоровалась:

— Здравствуй, Степаныч.

— Здравствуй, Анна. Я вот тут вам на ужин принёс, — ответил он на приветствие и опустил на пол глухаря.

— Спасибо, Степаныч, только как же? Ходил, ходил...

— У меня там, на крыльце ещё есть.

Подошёл Маугли. Присел к мёртвой птице. Потрогал её руками, спросил:

— Крёстный, а ему больно?

— Нет, Валька. Он спит... — и, потрепав его коротко остриженную голову, добавил, — и снится ему, что он попал в оцип да в суп.

— Ты прости его, Степаныч. Это я, объясняя сыну, сказала, что ты его спаситель и как бы стал его крёстным отцом.

— Вот и ладно! Вот и хорошо! Теперь у меня, Анна, три сына будет!

И Вальке:

— Сколько лет моему крестнику?

— Одиннадцатый идёт... с осени. Большой уже!

— Так-так. Большой, значит. Знаешь что, большой крестник Валька?

— Что, крёстный? — заглядывая в лицо Степанычу, спросил Маугли.

— Нынче по весне, как станет снег и станет тепло, загляни-ка ко мне с визитом в кузню!

— Ладно! Забегу... Скорее бы весна!

Кузнец, вновь потрепав по голове новоявленного крестника, встал. Слыша, что Анна подкашливает, посоветовал:

— У вас, Анна повышенная влажность. Это очень вредно для лёгких. Зимой и летом чаще делайте сквозняки, особенно перед сном... Ну, ладно. Бывайте здоровы! — и шагнул к порогу.

Анна Коренева – миловидная не старая женщина, такая, о которых говорят: « Всё при ней».

Когда Анне сообщили, что где-то на Дону в борьбе за Советскую власть погиб её муж Виктор, она была на сносях уже седьмой месяц. Она не рвала на себе волосы, не выла волчицей, как бы потеряв щенка,— окаменела, стала бледной и, упав, забилась как в страшной лихорадке. Два дня отходила от шока. Лежала в постели со взглядом, подёрнутым сизым теплом, как погасший костёр. Лишь изредка вырвется из под этого пепла наружу свет скорбным воспоминанием о муже и тут же спрячется, уходя внутрь. В это короткое время, она успеет пошуршать похоронкой, и снова глаза её задымятся сизой мглой, дотла выжженной утратой...

Но выкидыши у Анны не случилось, доносила ребёнка до срока, но при сильном расстройстве она бледнела, покрывалась холодным потом, падала и страшно тряслась в «чёрной немощи». И спокойная с виду, уравновешенная по характеру, как тихая речка, бегущая по равнине, Анна могла выйти из берегов. Тут надо было кому-то быть рядом, чтобы завести её в них снова. И такой человек был. Появился он лет десять назад.

– Здравствуйте, дядя Николай, – тихо поздоровался Маугли с ветеринаром.

Николай Иванович остановился:

– Здорово, здорово, Валентин. «Прянка» захотел?.. Да перестань ты жевать...

– Жрать хочу!— со злом проворчал парень, держа в руках большой кусок жмыха-дуранды. – Не подохнут ваши бурёнки от такой утраты, да и вы, поди, не доложите председателю или участковому...

– Да ты что, Валентин? За кого меня считаешь? Я хоть кого-нибудь продал?— обиженно сказал ветврач. – Все

мы под одним богом ходим. Ты же знаешь, что я слеп и сейчас, и потом... Успокойся. Жуй свой «пряник». Тебе лагеря не грозят.

Валька поднёс очередной кусочек ко рту.

— Простите, дядя Николай...

— Но раз уж ты попался... мне на глаза, слушай сюда: Скажи матери, чтоб жарче топила печь, кипятила в большом котле воду и... бегом на ферму. Поедем в село. Свежина будет. У Денисова коня прирезали... Подыхал. Привезёшь — и в котёл! Остальные куски заверни в крапиву, лопухи — два-три дня конина как свежая будет, ну а кости... Давай, Валентин, бегом!..

Когда Валька с большим куском дуранды прибежал в кубовую, мать стояла у рукомойника, обдавая пылающее лицо холодной водой. Сын взглянул на неё с улыбкой, с нежностью подумал: Какая же ты у меня красивая, мама!

— Ты чего, сынок? — спросила мать.

— Так, ничего... Сейчас дядю Николая видел. Взяла полотенце, утёрла лицо. Мать насторожилась: «Не ужель...»

— Велел тебе печь жарче растопить и большой котёл воды вскипятить. Скоро мясо привезём. — и с порога: — Ну, мы поехали!

У Анны отлегло от сердца.

Пока пылили на своей бричке, на конном дворе уже собрались колхозники. Как всегда, посоветовавшись с председателем, мясо раздавали колхозникам. Кто хочет. Хотели все. Какая тут брезгливость к полуодной кобыле? В такую пору чёрта съешь. Покос начался...

Мужики быстро разделали туши, отделили мякоть от костей, порубив её на небольшие куски, чтоб всем хватило, и, забрав без всякой ведомости мясо, тихо разошлись по домам.

Председатель при подписании акта о падеже скажет:

— Опять выговор... Сколько же ещё будет? Когда, Николай, кончатся обманы? Посадят когда — никогда...

— Бог не выдаст — свинья не съест, Иван Васильевич, — ответил ветеринар. — Святая ложь наша выше и сильнее любого страха. Щит, можно сказать, и помошь людям. Да и молодые жеребцы растут.

— Ну-ну... Дай бог...

Председатель колхоза как гражданин,

как коммунист видел и понимал: так уж устроен мир, что самые основные, самые значимые причины влияния на нашу жизнь не лежат на поверхности, и в жизни этой самое главное – достоверность. Без неё нечётко видишь настоящее и неясно будущее. То, что мы видим, является лишь внешним проявлением глубинных основ, формирующих нас и влияющих на наши судьбы.

Иван Васильевич как руководитель также понимал, что сельский труженик свободен был в своих действиях, но только в рамках дозволенного, определенного партией и правительством. Эти рамки – стартовая площадка для развития его способностей в плане самореализации.

На селе в конце тридцатых годов, после завершения коллективизации, было много молодёжи. Одних комсомольцев в колхозе было семьдесят пять человек. Большая сила! Но реализовать себя молодёжь в большинстве своём, могла лишь в рамках полей и ферм, за неким малым исключением. Хотя 1932 году была проведена паспортизация населения, она не коснулась деревень и сёл. Паспортов у селян не было, и люди моего поколения помнят, что паспорта появились у сельских жителей только в начале семидесятых. А в те годы отсутствие паспортов связывало селян по рукам и ногам и нередко предопределяло людям жить в деревне от рождения до кончины. Молодые люди ждали призыва и с радостью уходили в армию, но, отслужив положенный срок, большинство парней вертались обратно в родную деревню, в колхоз. Но всё равно призыв – это было время передышки от рабского труда и бесправия, выход, пусть временный, но всё же выход из тупика, в который была загнана колхозная деревня.

Девчата же часто шли на авантюру: «влюблялись» в случайно приехавших в деревню парней или городских

шефов, играли фиктивные свадьбы, лишь бы выпорхнуть из колхоза.

Деревня жила плохо, бедно, но stoически переносила эти тяготы жизни. Был выбор? Из чего? Сгибаться, унижаться, страдать духовно или выносить эти страдания телом. В те годы страдали от того и другого, ибо выбора не было, советская власть его не предоставляла.

Однако партия и правительство понимали, что село – мозг, питающий государство кровью, человеческими ресурсами. Там, в верхах, понимали: за счёт бесплатного, кабального труда колхозного крестьянина, за счёт налогов, займов государство получает, помимо продовольствия, огромные денежные ресурсы. Без этого слагаемого невозможна индустриализация страны, невозможны великие стройки во имя утверждения социализма. И правительство делало всё, чтобы закрепостить село, ибо боялись: чем больше народ будет иметь свобод, тем больше ему их захочется. Это понимал Сталин, и он дал народу словесную, мнимую свободу.

К. Маркс писал, что принудительный труд неэффективен, но истинная свобода народа для Иосифа Сталина неприемлема. Начиная с 20^х годов прошлого столетия, он подверг ревизии многие положения, продвигаемые Владимиром Ильичём Лениным.

35 миллионов колхозников, мало чем отличавшихся от ссыльных сталинских ГУЛАГов 30^х годов, трудились бесплатно на восстановлении разрушенного войной 1941-1945 г.г. народного хозяйства. На каждого взрослого трудоспособного колхозника был установлен минимум в 280 трудодней, детский – 120 в год, при этом ни выходных, ни праздников у них не было.

Сталин был человеком, для которого образцом государственности являлись Иван Грозный и Пётр I. Но не столько в реформаторской части (оба эти царя делали для

России немалые добрые дела), столько в части железной руки, крушившей своих инакомыслящих противников, истинных и мнимых врагов.

Как и цари, Сталин железной рукой проводил индустриализацию страны, коллективизацию. Преступная политическая авантюра с колхозами стоила жизни миллионам передовых сельских тружеников. Коммунистический мамай прошёлся по России: Десятки тысячи заброшенных деревень, потерявших хозяина – крестьянства, как класса. Неслучайно, что в народе аббревиатура ВКПБ расшифровалась как Всесоюзное Крепостное Право Большевиков. Эта авантюра, разорившая крестьянскую деревню поголовно, породила рабочий класс для строительства в области промышленности.

И у всех троих: Грозного Петра I, Сталина – на пути желаемого успеха оказывались тысячи и миллионы человеческих жизней, принесённых в жертву. И, как свидетельствуют некоторые историки, хотя Пётр I и поднял Россию на дыбы через реформы, цена этих инноваций и модернизаций – почти четверть человеческих жизней той, Петровской России.

И тут снова напрашивается сравнение со Сталиным. Выходит, что реальные перемены в вашей стране, возможны только через массовые жертвы. Любые исторические сдвиги в России возможны только через жертвы, и жертвы эти состоят из инакомыслящих. И любые попытки изменения направления движения к выполнению единоличной цели Иосифа Сталина отвергались. Stalin всё дальше уходил от идей пролетарского интернационализма. Он строил свою классическую русскую империю на внешних формах, на тотальном ранжировании во всех сферах, включая литературу и искусство...

Только после смерти Сталина в 1953 году Россия ненадолго вздохнула и попыталась немного прийти в себя.

Да, именно ненадолго, ибо система, созданная Сталиным, оказалась незыблемой до её падения – до начала 90^х годов.

В России и Советском Союзе личностный фактор в условиях централизованного государства, на его огромных пространствах всегда имел большое значение. Эта ментальность – большую страну можно держать силой, единой монаршой волей без инакомыслия – сохранялась долго и дошла до XXI века.

Если считать, что в основу истории человечества заложен прогресс личности, её стремление к духовному и материальному комфорту, улучшению качества своей жизни, мы можем говорить о Сталине, как о правителе, при котором человеческая личность была так унижена, что после его смерти не могла подняться десятилетия.

Некоторые историки считают, что по вине Сталина в Советском Союзе произошли колоссальные разрушения в годы войны с Гитлером, гибель миллионов населения до, после и во время войны, уничтожение или оттеснение интеллектуального цвета нации.

Сталин – пример, того, какое значения имеет единоличный фактор в управлении страной.

Лучшие передовые умы страны Советов полагали, что партия и правительство не должны отдаляться от народа. Они должны быть ближе как к городу, так и к деревне, к народным массам не лозунгами, а благими делами.

ЦК компартии надо было очертить границы своеволия Сталина, оградить страну от его однодумия. Мнение Сталина считалось единственным правильным – в этом крылась огромная опасность. Но сказать об этом в открытую, надо было иметь большое мужество, ибо все понимали: красный карандаш товарища Сталина перечеркнёт не только идею, но и жизнь самого идеолога.

Его своеволие охранялось лакеями, ничего не думающими исполнителями, готовыми, словно псы, по ко-

манде «Фас!» кинуться на уничтожение любого инакомыслия. Сталин и его правая рука – Берия выдёргивали из рядов нации лучших сыновей и дочерей советского народа. И счёт жертвам не поддавался разуму...

Но большинству людей, оглушенных слаженным оркестром коммунистической идеологии, надеждой на светлое завтра, в основном мало знающих об истинном положении дел в стране, Сталин был родным отцом. Народ не задавался вопросом: кто он в самом деле? Просто молились ему, как эпохальному истукану, как богу. И этот бог платил народу за молитвы голодом, унижением, смертью.

Откуда же такая любовь к тирану и душегубу?

На исходе прошлого столетия народу стала, и это очевидно, навязываться мысль, и эта мысль фундаментальна: нет добра и зла, нет лжи и правды, совести и подлости, а есть что-то вроде относительной целесообразности.

Но народ не хочет этой целесообразности, которая оправдывает сталинские массовые убийства наших дедов, отцов, которые могли бы защитить СССР от гитлеровского нашествия в начале 40^х.

Сорок тысяч человек командного состава армии Сталин вырубил под корень, тем самым открыл западные границы для вторжения фашистских полчищ в нашу страну, причём обвинив их, уже мёртвых, что они, якобы, «просрали» страну. О какой целесообразности можно говорить, если Сталин, зная день начала войны, не объявил мобилизацию? И когда она началась, Сталин до конца её только и делал, что мешал маршалам и командирам. Уже они-то хорошо знали, какой он «стратег и тактику» разве можно оправдывать целесообразностью гибель десятков миллионов российских людей, которых убил Сталин?

Некоторые политологи и историки полагают, что если бы не война с фашизмом, то десятки миллионов людей

всё равно бы сгинули в ГУЛАГах «советского Гитлера». Война для многих сотен соотечественников стала «спасением».

Кое-кто пытается навязать мысль о том, что необходимо оставить в покое многогранную личность «отца народов», чти, мол, историю такую, какая она есть.

История историей, но этот кремлёвский чингисхан с телефоном, как негласно называли Сталина его соратники, должен исчезнуть из мозгов хотя бы последующих поколений. Убийце собственного народа не место в его памяти! Но если мы своей памяти скажем «да», то это будет очередным малодушием народа, привыкшего к рабству и поклонению барину...

Как бы то ни было, это неоднозначное имя будет жить и через сотни лет... Это будет.

А пока, несмотря на полунищенское существование, на фоне фальшивого советского оптимизма деревня жила без фальши.

Всё свободное время, а его было немного, крестьяне отдавали своему основному кормильцу-огороду. В Брусове в ряду прочих овощей и культур выращивали немного сахарной свёклы. Её парили в чугунах в вольной русской печи, сушили, толкли в ступах, мололи на ручных мельницах-жерновах. Из белой свекольной муки замешивали тесто на молоке с добавкой сахара и красителя – сока красной свёклы, лепили подушечки или шарики, сушили. Получались конфеты-долгоигреки, твёрдые, как подшипники. С ними пили чай из трав и листьев деревьев, баловали по праздникам детей. Головка сахара была редкостью на столе даже у тех, кто жил более-менее хорошо. Основной же сладостью повсеместно была всё та же вяленая или сушеная свёкла. В сельпо редко, по праздникам, привозили

ландрин – конфетное ассорти, и за ним надо было выстоять многочасовые живые очереди.

Многие колхозники, в том числе, и Егор Денисов, выращивали табак. К концу лета под крышами дворов, на чердаках, рядом с берёзовыми вениками развешивался он на просушку. Долгими зимними вечерами при свете лучины и свечах рубился в корытах, просеивался, для красоты, то есть товарного вида, в него добавлялись жёлтые листья турецкого табака.

Наравне с сушёными белыми грибами табак был основным источником дохода многих крестьянских семей. Заготавливали мешками и вывозили на базары соседних районов: Лух, Порздни и город Горький на Сормовскую ярмарку или Канавинский рынок. Оттуда везли обновы к праздникам, сахарин, детям – игрушки, свистульки и леденцы на палочках.

Между тем, советская деревня тех лет – настоящий уникум! Сплошные парадоксы: на подворьях мычит, блеет и хрюкает скотина, кудахчут куры, а на крестьянском столе овощи, травы, постные щи с грибами, не говоря уже о хлебе – он был хуже блокадного в Ленинграде. Поговорка «дорого яичко в Христов день» носила в себе буквальный смысл. Ни курицу, ни овцу для стола не зарезать, иначе яйца будешь нести сам, а шерсть будешь теребить из дыма, потому что вся живность эта проводилась по шнуровой книге сельского Совета. Не утаить даже приплода: работники исполкома лично ходили по подворьям, переписывали скот и птицу не только для ГОССТАТА, но и для поголовного налогообложения.

Рядом с этими фактами правды Госстата уживалась и другая, более страшная правда: люди, работающие в поле, у межи ржаного поля падали в голодном обмороке. Страх сорвать колосок был сильнее голода.

«Согретый сталинской улыбкой» народ вымирал, не желая размножаться темпами, которые ему устанавливали партия и правительство. Сотни тысяч людей, сгинувших при коллективизации и замурованных в бетон «фундамента индустриализации», не могли дать прирост населения. Голод, раскулачивание, репрессии, социальный стресс дали значительную усушку народонаселения СССР.

Сталин остался недоволен итогами переписи населения 1937 года и не поверил им. Объявив организаторов переписи «врагами народа», обвинив их в фальсификации и нарушении основ статистики, он репрессировал их, назначив новую, 1939 года, перепись. И – чудо! В новой статистике отражён «небывалый расцвет народного счастья!..»

Но, отбросив коммунистическую демагогию, пропаганду о красивой и счастливой жизни советской деревни, на поверку реальность оказалась таковой, что на селе жилось тесно и голодно, оттого и не уютно.

Мало помогала деревне комсомольская и партийная принадлежность части общества, потому что жизнь в колхозе была скучной на события. Комсомол – это наносный слой, который как окажется через десятилетия, смется более «сильным» течением, хотя качественно оно хуже комсомола.

Но в те далёкие 30^е годы течение это изменить было невозможно. Коммунистические идеологи хотели и добивались того, чтобы народ создал себе воображаемый мир, наполненный яркими событиями, великими чувствами и подлинными переживаниями. Люди с удовольствием пели патриотические песни. Они будили и рождали гордость за свою страну. Но это, мы сами не понимали тогда, была лживая гордость. Мы думали, что наша родина самая-самая... У обманутых детей верхушка коммунистов украла

детство и, не придумав ничего нового, вернула рабство в гораздо худшем варианте.

Нам говорили, убеждали, агитировали за самоотверженный труд, труд бесплатный во имя Родины. Мы становились патриотами, но чувствовали себя изгоями у себя дома, в той самой любимой России, но... становились такими энтузиастами, что со стороны создавалось впечатление, якобы сельскую молодёжь завезли из какой-то другой лучезарной страны, в которой никогда не сходит с небосклона «сталинское солнце», а на берёзах вырастают булки с калачами да зреют грозди сладчайшего винограда!

Но ведь от настоящего не убежать, не ускользнуть в этот выдуманный мир. На съездах партии и праздничных демонстрациях кричали дружно об одном, а народ в своих коммуналках, на колхозных полях и фермах тихо, почти шёпотом, затаённо говорил и думал о другом.

Думал вместе с «разночинной интеллигенцией» и приходил к выводу, что одноногая структура власти без реально действующей оппозиции политически устойчивой быть не может. Народ жил в страхе, однако, сознавал, что пройдут десятилетия, но современные средневековые иезуиты, могущие уничтожить за инакомыслие кого и что угодно всё равно потеряют власть...

Председатель колхоза Иван Васильевич, желая хоть как-то облегчить жизнь колхозников, раздавал им мясо павших от травм и истощения животных. Старался не замечать ободранных полей гороха у краёв дорог, оттопыренных жмыжом карманов, мелкой кражи керосина, а собранные в полях школьниками колоски сам велел неси по домам. Он сознавал, что карманом ржи не очень-то увеличишь производство зерна, а в семье сварят какую-нибудь тюрю. Ни один человек из его колхоза не был предан суду по мелочам, хотя «мелочь» — карман гороха — тянула на пять лет лагерей.

Иван Васильевич понимал: иначе останешься «генералом без армии». Понимал председатель и то, что, скрывая эти «преступления», он сам становился сознательным преступником.

Его семья жила, как все колхозные семьи. Зная честность и совесть своего сельского командира, члены колхоза, хотя бы однажды замеченные на мелкой краже, при встрече с ним, здороваясь, стыдливо опускали глаза и... работали от мала до велика не на страх, а на совесть.

Дальняя родственница пожилой

четы Денисовых, внучатая племянница Варька Осипова из соседней деревни Петрово, изредка приходила к старикам. Года два тому назад, ещё до отъезда председательского сына Дмитрия на учёбу в Палехское художественное училище, его частенько видели вместе с Варькой: молодая красивая девушка заневестилась.

Дмитрий был молодым человеком приятной наружности. И лицом, и характером походил на мать. Мария Петровна намедни проговорилась, что сын собирается приехать на недельку погостить.

В середине июня, когда в лугах шёл сенокос, Варька вечерами зачастила к старикам, а сегодня утром прямо из телятника — к Денисовым. Была суббота. Племянница помогла Анне Саввичне наносить воду в баню, отнесла охапку дров, прибралась в горнице и с величайшего благословения бабушки поднялась в красном углу святая святых — домашнему иконостасу. Протёрла от пыли лики святых и лампаду.

Варька была в настроении и, отойдя от красного угла, запела какой-то новый мотив.

Бабушка Анна, гремя у печки сковородкой, улыбалась девушки. Вскоре по избе запахло блинами.

Варька на минуту встала перед зеркалом, и на неё посмотрела большими глазами в частоколе ресниц другая Варька. Чуть припухшие за ночь губы что-то тихонько напевали.

— Поёшь, кинареичка? — спросил дед, спуская с печки ноги.

— Пою, дедушка, — ответила Варька.

— Не иначе хорошую весть в письме получила?

Варька широко раскрыла и без того большие глаза, но к деду не повернулась. Залилась румянцем.

— Откуда знаешь, дедусь?

— Чутьё, пра... чутьё, — ответил дед Егор. Потом слез с печи, взял кисет, скрутил «козью ножку» и, прикурив, продолжил:

— Это хорошо. Сначала дружба, потом письма, а потом...

— Что потом? — пальцы девушки остановились в пряди волос.

— ...Потом свадьба, — договорил дед.

— Какая, чья свадьба? — Варька обернулась к деду.

— Твоя, конечно. Хочу дождаться, пра...

— Что ты к ней пристал, как банный лист? — раздался из-за перегородки голос Анны Саввичны.

Но Варька и Егор, словно не слыша её, продолжали свой диалог.

— А я не тороплюсь. Рано ещё, — проговорила племянница и снова повернулась к зеркалу.

— Это правильно. Зачем торопиться? — подтвердил дед. — С этим дедом торопиться нельзя. Его хорошо обмозговывают.

Дед понаслышке знал, что племянница не очень-то охоча до парней, а те, что до неё охочи, бояться её характера и колючей красоты.

— Ты, Варька, собой красива, одни глаза чего стоят, и фигура... — дед крякнул. — И умом свежа: часто тебя с книгой вижу... Одним словом, по всем женским статьям и мужским понятиям хороша!

Давно он так на эту тему ни с кем не говорил и тут его, словно мельничную запруду, прорвало... Не слыша ворчания супруги по этому поводу, дед неторопливо курил, сидя на табурете возле самоварной отдушины, в уме подбирая лестные доказательства красоты племянницы.

— Да с такой-то красотой, — снова заговорил дед, — только в кино сыматься аль в опере петь, а уж если замуж, то хоть за принца. Пра...

Варька о кино понятия не имела, петь в опере не со- биралась, хватит ей и клубной сцены, ни за какого сказочного принца замуж не желала: сельских парней вокруг полно. Но, польщённая дедом, она закинула тяжёлую косу за плечо и, задержась взглядом на своём отражении в зеркале, зарделась пуще прежнего.

— Да что ты, дедуся? Замуж, замуж... Рано ещё.

— Да я к тому, что чарку на свадьбах давно не пивал. А за твоё счастье я бы с Анисимом ох как на радостях! — заключил дед. — А то ведь неровен час, захлопнет меня тёмная домна, так и не увижу тебя счастливой.

Варька подошла к деду, обняла его сзади за плечи:

— Я и так, дедусенька, счастлива!

— Как знать...

— Спасибо, что беспокоишься обо мне. Только...

Подожди ещё годик, два...

— Два — много. Годик можно — как-нибудь проскриплю. А что, не полюбила ещё?

— Пока нет.

— Что так, аль некого? Да вон, Ди...

— Красивых нет. Все, что были, заняты, — по-прежнему обнимая, перебила Варька деда.

— Милая моя, Варюха-горюха, красота — она на свадьбе только хороша, а в жизни — человек, его душа, ка-рактер **то есть**, — пояснил дед, — Вон, у Стёпки Тимиша, что из города недавно приехал, золотая коронка. А толку-то что? Зуб-то под ней гнилой! Гнилой, пра...

— Ох, дедуся, какой ты! У тебя на всё прибауточки да ответы готовые!

И вдруг, глянув в окно, заторопилась:

— Ой, задержалась я у вас! Мне за подкормкой в луга надо... А ты, дедуся, сегодня будешь там?

— Попробую постараться. Я сейчас...

Когда Варька направилась к выходу, дед торопясь, словно боялся опоздать к разгадке её тайны, сказал ей:

— А вообще ты правильно делаешь. Жди его! Я твоего богомаза, то бишь Димку, с измальства знаю. По всем статьям мужик. Он...

Дед не договорил. Словно взрывной волной поддало в спину Варьку, как ошпаренная кипятком, вылетела она на улицу.

Утреннее июньское солнце ударило ей прямо в глаза, оно прожигало её насквозь, а сердце сжимала какая-то сладостная надежда.

Дорога от телятника до лугов, откуда Варька подвозила траву для подкормки молодняка, была неблизкой. Солнце уже поднялось, и в лугах давно звенели косы. Варька, по-детски болтая ногами, сидела на рыдване и пела песню, которая то неслась ввысь, в лазурное поднебесье, то замирала, повиснув над лугами...

С приездом Димы на каникулы жизнь Варьки приобрела новый смысл. И дед, поняв, что в прошлый раз попал в точку, не донимал племянницу, когда она прибегала к нему, замужеством и про себя решил на жизнь отмерить ещё годик. А Варька с самого утра жила упоительным ожиданием встречи. А пока над полями, средь голубого льна и ржи, парила, словно птица, счастливая песня Варьки.

Истосковавшись по родной земле, Дима на второй день после приезда стал собираться в луга вместе с косцами. Иван Васильевич одобрил решение сына, а мать отговаривала: «Отдохни, Дима, денёк-другой. Покосу на тебя хватит.»

– Не могу, мама. Каникулы небольшие. Охота в лугах побывать, да там будет... – не договорив, сын взял косу, пробитую с вечера, и, выйдя за калитку, на ходу радостно добавил:

– А отдохнуть, так это и будет отдыхом.

Мария Петровна поняла, что бесполезно уговаривать сына. Она знала: кроме тоски по родному дому и лугам, голубым василькам, которые он, как и отец, очень любил, есть у Димы и другая тоска – Варька, а она непременно будет на покосе, в чём Мария Петровна убедилась вскоре, прия с бабами в луга...

Гудят встревоженные шмели и пчёлы, последний раз пролетая над цветущим разнотравьем. Уже неделя, как звенят на лугу косы:

– Ж-жих! Ж-жих!

– Ж-жих! – вторит им коса Димы, и густая трава ложится у его ног толстым валком. Изо всех сил старается не отстать от впереди идущих косцов сват Егор – Осипов Анисим. Весь в поту, пыхтя от напряжения, машет он косой, но где там догнать Лёшку-Лохадёнку, Сашку Костылеву, совсем ёщё молодого Вальку-Маугли, да и Дима Варёнов оказался на редкость силён.

Вот Дима остановился, вытащил из-за голенища оселок, стал править у косы лезвие. И заходили его мускулы! Да, что ни говори, а красив в работе Варёнов род! Дима весь в отца. Косит, как он, вроде, он не спешит, а работа спорится.

Пришли женщины ворошить сконченную траву, принесли косцам завтрак.

– Кумушки-голубушки, – встретил их дед Егор, – Варюху-горюху не видали?

– Чу, поёт! – ответила Верка Королёва, – Что-то она сегодня особенно весела. Приедет твоя Варюха-горюха.

— Знамо, приедет. Только я не про то, — словно бы оправдываясь, сказал Егор, — а про то, что в животе пусто.

А куда тебя леший с молодыми в такую рань угнал? — выступила вперёд ещё не замеченная дедом бабка Анна, подавая ему узелок с едой, — Где тебе с ними равняться с больной-то ногой? Мог бы и попозднее в луга приехать.

— Я и не равняюсь, — ответил Егор, беря из рук бабки завтрак, — С кем мне равняться-то? С Маугли или Димкой? Так за ними сам твой лешак не угонится. Вон, смотри: Варькиного отца Аниську в лоскут загнали. Пра... С него пот, как вода с гуся.

И закричал в сторону Анисима:

— Слыши, сват! Слыши, мил человек! Анисим! Подь, перекуси оладушек да покури!

Но Анисим махал и махал, даже не оглянулся.

Прогрохотовав рыданом по пыльному просёлку, Варька свернула в луга. Ехать стало мягче, но рыдан качало, и песня оборвалась.

— А, кинареичка приехала, — встретил дед подъехавшую Варьку и лукаво подмигнул ей, мотнув головой в сторону Димы: смотри, мол, как твой богомаз косит!

На ходу обтирая косу пучком травы, подошёл бригадир, поздоровался с женщинами. Оглянулся в сторону леса. Из протока Вазы шумной гурьбой с граблями шли цыгане.

— Ну, раз блины на лугу, значит, завтракать пора, Андрей принял из рук матери узелок и посмотрел на солнце, определяя время.

Подошли Димка с Анисимом. Варька подала отцу завтрак. Встретившись со взглядом Димы, слегка покраснела и отошла на соседнюю вчерашнюю копанку, прилегла на неё, посматривая на Диму, разговаривавшего с Авдеевым. На вопрос парня, зачем здесь цыгане, Андрей дал вразумительный ответ, и Дима одобрительно кивнул.

...А солнце палит! Рядом с лугами, через дорогу, зыбнет рожь, виднеются нежные ёлочки уже заколоколившегося льна-долгунца, и горизонт струится в прозрачном мареве.

Сегодня в лугах не было Николая Тенятова: в третьей бригаде заболела бурёнка.

Уставшие косцы тихо поели, так же тихо легли отдохнуть.

Держа во рту пахучую травинку, Варька смотрела в небо на редкие облака, выплывающие из-за леса, и провожала их взглядом далеко-далеко, пока они не растворялись в голубизне горизонта.

Когда Варька встала с копны, косцы уже шли к своим прокосам и она заметила, что среди них не было Димы. Затаив в себе внезапную непонятную тревогу, она взяла вилы и пошла к лошади. Со стороны ржаного поля ей на встречу невесть откуда появился Дима.

— Помочь? — тихо спросил он и, не дожидаясь ответа, взял из её рук вилы.

Дима подавал сено с таким азартом, с каким, кажется, не косил! Он поддевал такие навильники, что воз рос на глазах, а Варька, поборов смущение, хохотала своим звонким смехом так, что бабы, ворошившие сено, переглядывались и улыбались. Лишь по мере того, как воз становился выше, Варька машинально оправляла подол платья, закрывая им красивые загорелые ноги, и безудержно хохотала.

Прижав воз прижимом, Дима взял вожжи.

— Я провожу... до большака.

Девушка, присев на возу, завороженно смотрела на своего любимого. Выехав на дорогу, он остановил коня.

— Я сейчас...

Дима быстро нырнул в густую рожь и вышел оттуда, держа в руках голубой васильковый венок с одной единственной ромашкой.

— Варенька, спустайся на землю...



По дороге, ведущей к деревне, медленно покачиваясь, плыл воз сена, пахнущий земляникой, мёдом, июнем... Воз плыл, и с него лилась, взмывая в поднебесье, счастливая песня любви. На голове у песни — васильковый венок с разгаданной ромашкой.

После закрытия местной церкви и

исчезновения семьи священника в поповском доме разместили контору правления колхоза. Добротный крестовый дом был самым большим и красивым на селе. На крепком кирпичном фундаменте с широкой боковой верандой стоял он на перекрёстке двух улиц, Большого и Малого Брусово, около сельпо. Тут же стоял столб с подвешенным на нём куском чугунки и шкворень – это набат по случаю ЧП.

Иван Васильевич давно мечтал, вынашивал идею высвобождения женщин в страдную пору весны и осени. Работая без выходных и отпусков, женщины, имеющие маленьких детей, были в большом затруднении.

Несмотря на тяжёлое положение колхоза по части финансов, председатель открыл первый в хозяйстве, да и в районе, детский сад-ясли. В конторе освободили три смежные комнаты, подремонтировали веранду и крыльце, обрамив его узорчатыми перилами. Эту работу доверили бригаде строителей Сашки Костылёва. Александр – местный умелец и строитель, как говорится, от Бога.

Вокруг бывшего поповского сада расширили территорию, по периметру которой выстроили своеобразную ограду, а меж деревьев у «грибков» и песочниц разместили привезённые из леса выкорчеванные высокие пни с корнями, причудливо росшие стволы деревьев – и в руках местного скульптора-самоучки Сашки Костылёва они превратились в персонажей русских народных сказок.

Родители поначалу не желали вести своих детишек в детский сад, но потом, поняв, что их руки освобождаются от забот о детях на целые дни, стали осмысленно расставаться со своими чадами с утра до вечера.

На заседании правления решили вопрос о выделении продуктов для детей: овощей, молока, яиц и мяса птицы. Хлеб согласилась выпекать Мария Фролова, жившая

через дом от конторы. Нашлись среди женщин и няни с воспитателями. Женщины-матери теперь спокойно трудились от первой весенней борозды до последней росы на осенних лугах. На зиму детский сад закрывался.

Новшеством этим заинтересовались в районе, и в колхоз зачастали гости. Одним из первых побывал корреспондент районной газеты «Новый путь» Владислав Котунин. Так как детский сад располагался в одном здании с конторой, Владислав заглянул вправление. На широкое крыльце открылась дверь и оттуда, словно по заказу вышли председатель колхоза Иван Васильевич и бригадир местных полеводов Андрей Авдеев.

— А... Вот и гость из СМИ к нам пожаловал! Здравствуй, Владислав! — поприветствовал Иван Васильевич старого знакомого. Корреспондент обменялся с хозяевами рукопожатиями.

— Здравствуйте! Наслышаны о вашем новшестве и решили поведать о нём всему району. Ну, показывайте ваш чудо-городок! — прямо, без всяких обиняков начал Котунин.

— Пошли, Владислав. Это совсем близко, здесь, за углом, — и к Авдееву, — Пойдём вместе, Андрей.

Шёл третий час пополудни, у детей был сончас. На детской площадке — тишина..

Спустившись с широкого крыльца, все трое свернули за угол конторы и оказались у калитки-арки в виде дугообразного чудища. Один конец дуги был витиевато загнут к середине арки — это была голова пучеглазого Змея Горыныча, из разинутой пасти которого были видны большие зубы и красный язык. Однако голова Змея Горыныча выглядела не устрашающей, а, скорее, интригующе весёлой.

Владислав взялся за фотокамеру.

— И кто всё это сделал? — с восхищением спросил он, — Это же воистину сказка!

— Есть у нас один такой, — ответил Андрей.

— И кто же?

— Бригадир строителей Александр Костылёв.

Они прошли в глубь сада. Гость навёл объектив на медведя с деревянным ведром и Красную Шапочку, разместившихся по старой яблоней. Подошёл, заглянул в корзину девочки.

— Боже мой! — воскликнул Владислав, — И пироги здесь!

В искусно сплетённой корзинке лежали глиняные пироги, начинённые опилками красного цвета. А вот и Лиса Патрикевна из-за куста смородины выглядывает, а на дорожке — Колобок. В терновнике сидит филин. Из-под лохматых бровей смотрят на тебя большие немигающие глаза...

— А можно увидеть Костылёва? — спросил Владислав.

— Его бригада сейчас на реконструкции старого ветряка, — ответил Авдеев, — Если позволяет ваше время, можно пройти туда.

— Обязательно!

— Вообще у нас много талантливой молодёжи, — с достоинством сказал председатель.

— Я уже в этом убедился! Приехал вчера вечером и сразу попал в молодёжный круг за околицей. Удивил меня гармонист Афоня. Талант... Это какой-то виртуоз! Ну, на все горшки — покрышка!

— Это так! — отозвался Иван Васильевич, — Вы правильно и точно подметили. Афанасий Пушкин — душа нашего села и всего колхоза, душа простая, талантливая, открыта, остроумная! Плоть от плоти — русский человек!

Афанасий очень умный человек: прекрасный труженик, артист, автор весёлых искромётных стихов, частушек.

— Я уже записал несколько. Правда, они не для печати, но для устного народного творчества просто кладезь какой-то! — Владислав достал блокнот, испещрённый скоприпсью, — Вот некоторые из частушек:

Я иду, кобель залаял
На меня — мошенника,
Видно, я тоже собака,
Только без ошейника

Соловей мой, соловей,
Между ног гнездо завей.
Тут и яйца уж готовы,
Только выведи детей.

Муженёк мой дорогой,
Не лежи ко мне спиной.
Повернишь-ка грудью
И достань орудью.

— Да, это Афонины частушки, — подтвердил Авдеев, — Их у него вагон с маленькой тележкой. На любую тему...

— Такие люди, как Афанасий Пушкин, Александр Костылёв, оставляют свой след и на земле, и в сердцах людских. Наш колхозный народ будет долго помнить эти таланты. Замечательные труженики и таланты есть и среди молодёжи: Варька Осипова, Нюрка Сазина, Лена Макеева... да всех не перечтёшь.

Осмотрев все уголки городка, гость и хозяева вернулись к канторе.

— Расскажите поподробней о молодёжи, как она живёт, чем дышит, и вообще...

Не заходя в контору, они присели на ступеньки крыльца.

— После короткого знакомства с молодыми людьми, пусть и в такой обстановке, всё равно чувствуется кредо их повседневной жизни. Вы добавьте о них, пожалуйста, как руководитель, — попросил корреспондент.

— Добавлю с большим удовольствием, — отозвался председатель, — В современной России всем тяжело, особенно сельской молодёжи. К тяжёлым ненормированным трудовым дням колхозного производства добавляется невозможность посещения театров, музеев, концертных залов. Нет света, радио. Но и не заканчивая институтов, освещая себе избы керосиновыми лампами и лучиной, сельская молодёжь всё равно понимает: нельзя терять то духовное богатство, выпестованное нашими предками и переданное ей по наследству на временное пользование и хранение.

Молодёжь старается заполнить эту пустоту, собираясь на деревенские посиделки-вечеринки. Трудно описать словами все те чувства, которые испытываешь, глядя на ребят и девчат, лихо отплясывающих чечётку и дробушки, сдабривающих удаль танца или пляски ядрёной частушкой-припевкой! Всё наше, до боли русское! Видно, что молодые люди не просто играют и поют, а живут, радуются, прямо-таки купаются в прекрасной стихии народного творчества. И, глядя на эту чарующую красоту в глухой деревне, верится — будем живы! Переживая нелёгкие времена, растит хлеб для Родины полуголодная, полураздетая, но полная оптимизма деревня!

Владислав скорописью вмешал сказанные слова председателя в блокнот.

— ...Напитавшись шутками и озорными частушками, отклопавши ноги в плясках, молодые люди расходятся по домам. Пустеет деревня, завтра рано вставать... Закончив-

шаяся вечеринка не уходит в прошлое благодаря таким людям, сельским энтузиастам, как Афанасий Пушкин, Верка Королёва, Надежда Фролова, Владимир Зутиков... А чего стоят наши певуньи Варька с Нюркой! Прекрасная народная традиция - своеобразно, по-русски отдыхать в перерывах изнурительного труда. Здесь, на сельских вечеринках, бьёт чистый живительный родник народных талантов!

– Спасибо, Иван Васильевич, – поблагодарил председателя Владислав, – А как обстоят дела с пьянством, с верой в бога?

– Хотя и рушатся святыни, душа народа остаётся живой, и не утрачивает ценности честной трудовой жизни. Как коммунист, покривлю душой, если не скажу, что с разрушением храмов искажаются в умах и рушатся естественные и вечные ценности.

Русский человек извечно мог прожить без куска хлеба, а вот быть бессовестным, безнравственным, без веры не может ни дня. У человека всегда имеется выбор в любое лихолетье. Хочешь – верь, не хочешь – не верь и не мешай верить. Грех срамить человека за веру. Никто никого силой ни в ту, ни в другую крайность не тянет, потому как дурость то, что не веришь, во что надо, дурость и то, что веришь, во что не надо.

Иван Васильевич взглянул на собеседника.

– Я хотел бы закончить эту тему разговора выскаживанием о вере нашего уважаемого односельчанина, истинно верующего кузнеца Степана Фролова: «Кто верит ради веры, тот не верит. И выходит, что и ему верить нельзя. Он ради себя живёт. А вот если тот, кто верит для людей, точно верит. И ему можно верить. Этот не осрамит, не продаст».

Я со своей стороны повторюсь. Это дело совести, дело выбора. А выбор есть, есть возможность становиться

и остаться человеком. Человек способен в любых обстоятельствах не терять честь, совесть, достоинство. Способен не терять память – святое чувство. Память о предках наших: пахарях, селятелях – не только хлеба насыщенного, но и духовного семени священное вдвойне.

В каждом селе, на каждой улице есть дома, в которых живут трудолюбивые, сердечные люди. И в каждом селе на Руси, чего греха таить, есть выпивохи. На них надо влиять личным примером, всей общественностью. Не орать на человека, что он пьёт, не одёргивать, не твердить каждый день и час, что он пьяница. Сколько можно из века в век это делать? Не лучше ли приглядеться, присмотреться к этим ванькам и гришкам? Они обязательно могут быть интересными людьми. Тот же Александр Костылёв, золотые руки, горячее сердце, а голова холодная, хотя по праздникам и редким выходным пьёт не простоквашу, заслуживает снисхождения. Подчас я ненавижу себя за эту слабость, однако согласен с поговоркой: «Пьяница проспится, а дурак – дурак всегда». Да и голову терять ему мы не даём. Он неожиданно оказался мастером-самоучкой по дереву...

Важно только заметить этих людей и поддержать в них светлое и доброе, чтоб не угас в них талант, а стал достоянием общества.

Или другой пример – Николай Власов... Оболтусом и выпивохой был, а стал? В звене льноводов Анны Таржуниной стал работать, в комсомол собирается...

Работа с такими людьми трудна, но необходима для деревни, для колхоза и для России в целом. Одному и даже двоим трудно это сделать, а всем миром – осилит деревня! Это факт! Факт исторический! Исторический факт может и гвоздь забить, и голову расколотить. Главное, в каких руках этот факт. Кто его пропустил через душу и с какой це-

лью он приведён: с целью созидания или только для того, чтобы потешить народ.

Без любви к Родине, без поддержки самородков, россыпи которых лежат по всей территории страны, без духовной поддержки нам никогда не добиться перелома в жизни в лучшую сторону. Страх, угроза наказания за малый и даже за несовершённый проступок – плохие помощники в деле построения социалистического общества. Чтобы выполнить программу партии и правительства, нужно надеяться на себя и физические силы, чтобы жить по людски, пусть пока небогато, без излишеств, но с любовью к Родине, партии Ленина, людям...

Председатель говорил так, что становилось ясно: у него есть самое важное достоинство – уметь точно и ярко высказывать свои мысли, и это факт, пусть и местного масштаба.

Весь следующий день допоздна

Андрей снова был в лугах. Половину Цыганского доля уже уложили в валки, поставили десяток стогов. Устали до тошноты, но от сознания того, что травы выросли, будет корм, усталость уходила на второй план.

На обратном пути около моста через Вазу встретил Галю. Она в группе цыганок шла от соседней лесной деревушки Отлужново. Разговора не получилось. Он тоже шёл с косцами. Поздоровались, Гая остановилась. Тряхнула густыми волосами, улыбнулась и послала Андрею воздушный поцелуй, который он принял глубоко сердцем. С Гаей они знакомы уже второе лето, и виделись много раз с того дня, когда ездил в табор сватать цыган на колхозные работы. Сватовство состоялось, а Гая запала ему в сердце с момента встречи с ней на реке. Красивая стройная, обнажённая цыганка в мыслях преследовала его всю зиму, ожидая встречи. И вот... Поздними вечерами недалеко от табора они снова втайне встречались. Встречи были не безопасными, но влюблённым сердцам не прикажешь. Чувства их были взаимны.

Придя к дому, Андрей присел на крыльце: От усталости ни есть, ни пить, даже спать не хотелось.

Мягко скрипнула калитка соседа. Дядя Егор, не совсем еще старый мужчина, в недалёком прошлом мельник, хромает после несчастного случая на мельнице. Трое его сыновей, уйдя в армию, поочерёдно выпорхнули из родительского гнезда, деревенские невозвращенцы проживают где-то в городах. Иногда приезжают, и тогда немолодая супружеская пара оживает. Особенно расцветает Анна Саввична: не знает, куда усадить сыновей, невесток и внуков, чем попотчевать. От гама детворы дом звенит! Но вот уедут гости, и покой снова воцаряется в доме.

После закрытия местной церкви в селе Кромы Анна Денисова, как истинная приверженка православной веры, руководством Пестяковской епархии была помазана на богослужение по месту жительства.

Ей разрешалось крестить взрослых людей и младенцев, служить панихиды по усопшим и совершать другие богоугодные действия.

Дядя Егор сдержанно отнёсся к таинству назначения супруги, но службе прихожан запротивился:

– Не дело это, Аннушка, в избе молебный дом делать. Ты уж прости меня, грешного, но для службы нужно другое место.

Но если родители приносили к ней малых детей для свершения обряда крещения, Егор молча доставал с полатей удлинённую деревянную лохань, сделанную специально по заказу жены, наливал в неё воду, брал из загнётка три уголька и, отдав всё это новоявленному попу, то бишь жене, покидал горницу. Анна опускала в лохань серебряный крест, три уголька, и, негромко произнося слова молитвы, погружала младенца в купель.

В обычновенные дни Анна становилась, как все, деревенской бабой: пахала, косила, жала рожь, мяла и трепала на гумне лён.

Сам дядя Егор – потомственный землепашец. В городе не живал, всю жизнь на селе. Уже в зрелые годы хотел стать агрономом, но учиться надо было ехать в город Плёс в училище, где преподавали сельхознауки, да в кармане у Егора в ту пору – огниво да кисть с самосадом. На трудодни не поедешь. Так и остался Егор без диплома, хотя в знании земледелия иного дипломированного, как говорится, может за пояс заткнуть.

Денисов дружил с покойным Иваном, своим соседом и после его смерти для Андрея был вместо отца и старшего брата. Иногда, видя, как парнишка копошится в

огороде, помогая матери, шагнёт из своей борозды в соседскую и скажет:

— Сдаётся мне, Прасковья, что твой Андрюха всю жизнь будет по полям и лесам шляться.

— Что так? — выпрямившись из борозды, спросит соседка.

— Чую: быть ему учёным агрономом аль лесным академиком. А что? — спросил вроде бы, да сам и ответил,

— Вот, пойдём по миру с шапкой, соберём со всех дворов гроши и отправим его в академию грызть сельхознауки. Пра...

У дяди Егора пополудни сильно занедужила большая нога, и его, хотя он и не хотел, увезла с покоса попутная подвода.

— Иди-ка сюда! — Кричит Егор Андрею через улицу, садится на скамеечку под окнами и сквозь тополиные ветви смотрит на опускающееся в закате солнце.

— Садись. Покурим, побалакаем, — приглашает прокуренным, как бы застоявшимся голосом, Егор подошедшего бригадира.

Андрей опустил ватное тело на скамейку рядом с Егором.

— Устал, Андрюха... Вижу, что устал. Только одни глаза и светятся... Любишь?

Егор, как и все в бригаде, знал об их отношениях с цыганкой.

— Угу...

— Люби. Только не карауль её, как милиционер. Лучше своего шпиона Маугли попроси, ежели что... — он слегка улыбнулся в усы.

...Нынешним, уже вторым, летом знакомства Авдеева с Галиной, за ней шла негласная слежка со стороны барона Кафрана.

Сегодня утром бригадир зашёл в кузню к Музгару Степанычу. Увидев орудовавшего у наковальни с кувалдой Вальку-Маугли, Андрей неожиданно обрадовался. Поздоровавшись, бригадир поинтересовался:

— Степаныч, вы что, второго помощника зaimели?

— Пусть сам ответит, — произнёс кузнец.

Коренёв-Маугли, отложив кувалду, подошёл к бригадиру.

— Я мышцы накачиваю, — похвалился Валька.

— Мышцы? Это хорошо! — одобрил Андрей.

— Крепкий парень растёт, — вставил крёстный, — смекалка есть, однако, похоже, кузнецом стать не собирается.

— Я хочу, как дядя Коля, лечить животных, — выдал свою тайну Маугли, — Он меня пока учит лечить свиней. Знаю как замерить температуру у хавроньи, могу поставить укол, если заболеет.

— Молодец, Валька! Однако, ты мне нужен... Очень!

— Ну, ладно, крёстный, до завтра!

В полдень Маугли ушёл в табор...

— Чую, нелёгкой будет ваша любовь. Цыгане — народ дикий, вольный, и живут они дикими, давно устаревшими законами и обычаями.

Сосед прикурил. Сизый дым табачным облачком поднялся над его головой и растаял в вечерних сумерках.

— Конечно, — продолжил Егор, — за ваши шашни они тебя, могут и не тронут, а вот Галинку...

Сосед снова умолк. Смотрит на кур, что ковыряют у заборчика мягкую землю и ничего не находят, что б склевать. Но как азартно скребут они жёлтыми лапками по взъерошенному чернозёму! Тут же с покровительственным видом прохаживается голенастый, грудастый петух. Он то и дело останавливается, гордо вскидывает голову и, трях-

нув огненными серёжками, горланит на всю улицу. И сколько дикой лихой удали в его ошалелой радости!

— Видал этого полигама? — кивает на петуха дядя Егор и слабо улыбается, любуясь им по своему.

— А ведь и среди мужиков бывают этакие кочеты — полигамы. Им мало одной, надо гарем, как этому долгоногому горлопану.

— Ку-ка-ре-ку-у! — победно, словно соглашаясь с Егором, заорал у их ног петух.

Егор молчит уже с минуту. Андрею хочется уйти, остаться наедине со своим ожиданием. Он встал.

— Посиди, — слышит он голос соседа.

Закат вот-вот потухнет, и сумерки пригласят кроткую ночь.

— Всё равно спать не будешь, — прочитал Егор мысли Андрея. До полуночи ещё не скоро. Никуда не денется твоя красота. Не тормози своё сердце. Дай бог, чтобы всё, как задумал, сбылось.

Андрей снова присел, чтобы не обидеть соседа, тот продолжил:

— У нас, пожилых и старых, Андрей, тоже мысли витают, только совсем иные. У молодых — о будущем, у старых — о прошлом. Это порядок вещей: молодость учит правила, зрелость постигает исключения...

— Мыслишки бывают совсем о пустяках, плонуть и забыть. Уйдут, уйдут, да снова и вертаются. А я вроде тепёнка на привязи возле их.

«Кто знает? Наверное, один бог, о чём и что тормозит сердце дяди Егора, — подумал Андрей. — Наверное, правду говорят, что, когда думаешь о чём-то, вспоминаешь, время быстрее катится.»

Егор снова вынимает из-за пазухи кисет с самосадом, сворачивает самокрутку. Прикурил. Закашлялся. Замолчал. Андрей представил, как память тихо ведёт Егора в

его далёкое – близкое, когда был молодым, здоровым, сильным, любимым. Как он сейчас.

– Ещё помнится в голове такое... – не давая уйти Авдееву, снова заговорил сосед, – ... как мы с Аннушкой поженились. Жили-то в тесноте, восемь душ в избе. Бывало, лежим с ней на палатах, шепчемся, а чтоб, скажем поцеловаться или большую любовь доказать, так, грешным делом, во двор бегали. Летом-то проще было: Луга, лес. Там свободно, и мы с Аннушкой одни... Вот такая морока в голове, – заключил Егор и вдруг как отрезал: – У вас с Галинкой, хочу надеяться, всё будет не так. Хочу... Ну, тебе пора.

Уходил очередной день июльских

спелых лугов, наполненных запахом пьянящего разнотравья и рядами тугобоких и остроконечных стогов.

Варька сидела на копне сена, осматривая высокую закладку, на которой гордо восседал Дима. День уже клонился к вечеру, и колхозники вершили последнюю скирду. Думая о чём-то своём, Варька уловила дружный хохот. «Вера Королева, наверное, опять «заводит» Диму, — подумала она и встала с копны, — или Тенятов просит его намалевать для жены святой образ. Этим только повод дай, только попадись на слове... Правда, шутки их не ложатся на сердце камнем, но пощутить над молодыми они любят.»

Варька вслушивалась время от времени в доносивший хохот. «Ну и пусть!.. Пусть «укладывают!» — почти вслух проговорила Варька. — Я могу сейчас же пойти туда, встать на рыдван Димы и крикнуть : « Я люблю Диму! Слышиште?.. Что же вы не смеётесь?»

Но ей не пришлось никуда идти. Завершив скирду, стоя на грохочущем рыдване, Дима уже гнал коня в её сторону...

Окончив художественное училище в июне 1940г., Дмитрий Варёнов на год приехал в родную деревню, как он сказал, в постакадемический отпуск, а там... Как и в прошлые каникулы Дима сразу попросился у отца на работу.

— Ну, куда «божьего писаря» пристроить? — разговаривая в коянторе, спрашивал Иван Васильевич, — целый год, если в армию не призовут, надо чем-то занять парня.

— Он же не иконы пишет, — сказала секретарь парткома колхоза Надежда Михайловна. — Пусть поможет в оформлении избы — читальни, школы.

— Это он сможет, но надо его к земле пристроить, и Александр Костылёв ему поможет.

— Кому помочь, в чём? — спросил только что вошедший бригадир строителей.

— Да о Димке моём толкуем. Куда-то надо на год его определить.

— Пусть пока с покосом да уборкой поможет, а зимой тресту и льноволокно надо на заводы сдавать. Там люди грамотные нужны, — порассуждал Костылёв, а вечерами пускай меня художеству поучит. Он видать толковый парень.

Димка был рад такому раскладу. На том и порешили...

На землю опускалась роса, и солнце, висевшее низко над лесом, было перечёркнуто дымкой жёлто-розовых облаков. Варька и Димка ехали тихо, не подгоняя лошадь, словно боясь, что дорога вот-вот закончится. Из деревни слышалась песня, плывущая в вечернем воздухе, и слова её ласково, словно вёсла, касались водной глади Таеха. Песня кончилась вдруг. На краю деревни их встречала шумная ватага мальчишек, они скандировали: «Димка — солдат!.. Димка — солдат!..»

Димка с ходу вбежал в сени, толкнул в избу дверь. Мать с заплаканными глазами сидела у стола.

— Мама, ты чего? А папа где? — спросил сын, подходя к матери.

Мария Петровна молча кивнула на листок — повестку из военкомата.

— Отец в район уехал, но он уже знает.

Дима обнял мать, прижал к себе её голову, поцеловал за ухом в пахучую прядь волос.

— Мама, ну зачем так? Сколько ребят уже забрали в армию? Что я, хуже других?

— А если война? Говорят же ... Одна ведь останусь, если что... Ты же знаешь отца... Пиши хотя чаще...

— Конечно, мама... Да какая война? Я надеюсь, что это ложные слухи, — желая успокоить мать, проговорил сын.

— Ладно, сынок, спасибо за надежду, — Петровна опять уткнулась в конец платка.

У печки, возле отдушины, тихо пыхтел, временами попискивая, закипающий самовар

— Вы уж как-нибудь... Дрова на зиму есть, сено тоже, а огород... В случае чего, позовите... Она не гордая...

— сын отошёл от матери. — А может...

— Не спеши, сынок. Лучше после армии ... — посоветовала мать, — Мы пока уж с отцом как-нибудь...

Из зеленых глубин Таеха медленно, как влаждычица, поднималась ночь. Вновь, как и в прошлые вечера, на много вёрст вокруг легла недвижимая тишина. Держась за руки, Дима и Варька стояли на кругом берегу под тихо лепечущей берёзой и молча смотрели в притихшую в полуночи родную деревню. Над молодым липняком, полосой уходившим к соседней деревне Бахаевской, из-за тучки вышла и повисла в ночном небе оранжевая краюха луны.

Дима обнял Варьку. Чувствуя надолго пришедшую разлуку. Диме показалось, что она хочет ему что-то сказать, но девушка, лишь прильнув к нему, уткнулась в грудь, тело её слегка дрожало.

— Ты что, Варенька? — подняв её голову, спросил Дима. — Я же люблю тебя! Варюха — Горюха моя! Слышишь?! Люблю...

Он поцеловал её солёные тёплые губы, и Варька доверчивей прижалась к нему.

— Разве я тебя обидел? — снова спросил Дима.

— Да... То есть нет...

— Почему же ты плачешь?

— Потому что я... Потому что ты...

Варька хотела открыть ему свою тайну, но побоялась, что Дима может не понять её и отвернуться.

– Писать будешь?

– Эге.

– Ты уедешь, а я смотреть буду вслед, всё звать буду тихо-тихо. Прислушаешься там, на посту, подумаешь ветер шумит, а это я... Я ... твоя Варька...

– Ждать будешь?

– Дождусь.

– Не забудешь?

– Нет... Пока жива! Слышишь, – Варька прижала его голову к груди, – сердце стучит: с тобой, с тобой... Я буду приходит к нашему месту каждый день.

Варька отошла от Димы к берёзе, стоящей над обрывом.

– Вот она, наша берёзка, будет свидетелем.

Дима вынул из кармана складешок и на глазах у Варьки осторожно, не задевая древесины белоснежного ствола, вырезал на бересте своё и Варькино имя, поставив между ними знак «плюс».

– Пусть не обижается на меня берёзка. Вернусь из армии – оберегать её стану.

Через неделю ребят провожали всей деревней.

Разукрасив гармонь цветами и лентами, по обычанию, молодёжь прошлась по Брусову с песнями, останавливаясь у изб призывников.

– Ну, Димка, давай тряхни напоследок! – сказал гармонист Афоня и рванул меха. Скоро и Серёга за тобой...

Слегка захмелев, Дима взглянул на Варьку и вышел в круг:

До свиданья, село Кромы,
Бела колоколина.
Служить в амию я еду,
Дорогая Родина!

Дима пел негромко, но весело, чётко выговаривая слова. Афоня не устоял на месте и вышел в круг к Димке:

Провожу тебя, товарищ,
На Ивановский вокзал,
Только ты тогда за это
Свою милочку отдай!..

И вот он – шумный вокзал. Дима краешком уха слушал напутствия отца с матерью и друзьями, посматривая на стоявшую чуть поодаль Варьку. Он понимал, что ему нужно первому подойти и сказать что-то важное, может, даже то, что говорил уже не раз. А время неутомимо приближалось. Дима поцеловался с родителями, пожал руки друзей и кинулся к Варьке. И уже у подножки вагона, прижавшись к нему, горячо в ухо прошептала:

– Дима, у меня... У нас...

Поезд тронулся. Дима, казалось Варьке, понял её. И он, глядя на неё, подумал «Вот ведь какая! Как же не вернуться к такой!» Стоя на подножке упльывающего вагона, Дима ясно видит лица родных и Варьки. Он крикнул:

– Жди! Я вернусь!

А гармонь Афони неистово играла, не обращая внимания на то, что над перроном давно уже растаял прощальный гудок паровоза...

«Первая любовь неиспорченной юности направлена всегда на возвышенное. Природа как будто хочет, чтобы один пол чувственно воспринимал в другом доброе и прекрасное.» – писал Гёте.

Однако, понимая всё это, многие ли родители всётаки относятся правильно к первым чувствам своей дочери и сына?

Самые крупные конфликты между родителями и детьми в семьях, где есть 15-18 летние девушки и юноши, чаще всего возникают на этой почве.

Родители однажды завозмущаются своеволием детей, укоряя их, видя как округляется живот дочери...

От родительских запретов на встречи, любовь не исчезнет. Более того – «запретная любовь», которая прячется от взора старших, приводит к тому финалу, к которому подошли Димка с Варькой... Но у них не было «запретной любви».

Однако, оставляя девушку, как говориться, один на один с «распечатанной девственностью весны» Димка опасался, как бы случайные люди с примитивными пошленькими взглядами на девичью любовь, не надсмеялись над ней.

Он искренне жалел, что не всё рассказал матери...

Однако, наступила осень. К середине октября уже не раз выпадал снег, но каждый раз стаивал бз следа. В это время Варька работала на скотном дворе. Каждый вечер, приходя с работы, она заглядывала в почтовый ящик. Письма от Димы приходили часто, и тёплые строчки их согревали Варькину душу. Только почтальона дядю Колю Смирнова сторонилась. Никого она не боялась, а его просто стыдилась.

Едва закончив работу, Варька выбежала из телятника и, свернув с дороги, через гумно пошла по тропинке, где её и повстречал почтальон.

— А, это ты, Варюха! — он полез в сумку, — На, держи. Долгожданное, небось, а? — Николай протянул ей солдатский треугольник и шутя, как бы спрашивая, добавил:

— И чего люди пишут каждый день?

Варька густо покраснела. Не застёгивая пальто, опустила в землю глаза. Дядя Николай вдруг встревожился:

— Что с тобой, Варюха? Не больна ли?.. Он оглядел смутившуюся девушку с ног до головы, помолчал и, не сказав больше ни слова, понёс свою сумку дальше.

Едва дядя Коля скрылся из виду, Варька присела возле овинной ямы в кустах шиповника и с нетерпением открыла письмо...

То, что заметил почтальон, для многих других, глядя на девушки, не было новостью. Вот и сегодня. Убирала навоз и случайно пришлось услышать разговор.

— Молодая, а грех-то какой?

— Она свою тяжёлость прячет... Вон, пуговицы-то перешла, бессовестная...

— Шило в мешке не утаишь.

Уходя домой, Варька нарочно расстегнула пальто и не спеша прошла мимо доярок. Но как только вышла со двора, она кинулась бежать, чувствуя за спиной сверлящие взгляды. Но обиднее и в сто раз горше каждый день слушать попрёки родителей... А на работе... Ну, почему люди такие жестокие? Что я им сделала? Неужели они не понимают, что по любви всё это вышло? Они же женщины... Как сказать отцу с матерью, что у ребёнка есть и будет отец?..

Домой Варьке идти не хотелось. В голове, набегая одна на другую, роились разные мысли: «Как дожить до

возвращения Димы? Хотя бы в отпуск приехал... Может к Марии Петровне сходить? Они с Иваном Васильевичем звали в гости, когда помогали им копать картошку, — но тут же отмела эту мысль, — Ни за что! Она ведь тоже не одобряюще смотрит на меня. Вслух не говорит, не сплетничает с бабами у колодца, а думает, наверное, и осуждает, как и все... А дядя Николай?...»

Однажды летом, возвращаясь с туманной реки, Дима позвал её в сад к Смирновым. Беседка, говорит, у них есть. Вся хмелем обвитая.



Разговаривали громко, не таясь, и дядя Коля подумал, что мальчишки за ягодой залезли, и потихоньку вышел в сад. Но скрипучая калитка выдала его. Варька успела вскочить с лавки и шмыгнуть за беседку, а Димка, застигнутый ночью в чужом саду, почему-то рассмеялся: «Ха-ха-ха!»

Дядя Коля в ночной белой рубахе и подштанниках, словно привидение, почти вплотную подошёл к хохотавшему Димке, и со свойственной ему иронией спросил:

— Ты что это раскудахтался? — он посмотрел около своих ног. — Я вот возьму хворостину да по хвосту этому горластому кочету! Что ж, ёж тебя в бок, кустов на Таехе мало, дык до моего саду добрался?

Вид у дяди Коли был такой, что Димка никак не мог справиться со смехом.

— Да я же, мы...

— Что ты — ясно. Не совсем ещё слепой. А вот кто мы — не вижу.

Он заглянул за беседку — Варька прыснула.

— Дядя Коля, мы же просто... посидеть, поговорить.

— Знамо, не за деньги. Так только по ночам и шастают, — проговорил Смирнов и, поддёрнув подштанники, направился к дому. Подойдя к калитке, он обернулся и сказал в назидание:

— Воркуйте, чего уж там! Мне беседки не жаль, она для этого и предназначена. Только смотри, Варька... Знаю я эти шашни. Воркуете, воркуете да и...

На что намекал дядя Николай они с Димой в тот момент не понимали, только долго тихо хихикали после того, как он снова скрипнул калиткой...

Вспоминая этот эпизод, Варька незаметно подошла к дому.

— Явилась — не запылилась! — встретила её мать, — Опустила свои мороженые, бесстыжие глаза! А нам от людей какого?

— Мы же поженимся, мама... — снимая пальто обронила в свою защиту дочь и посмотрела на отца. Анисим сидел и чадно дымил самокруткой. Густые брови сдвинуты к переносице в напряжении.

— Кто он? Я спрашиваю в последний раз, — отец так грохнул кулаком по столу, что посуда, собранная к чаю, подскочила и зазвенела. — Кто автор этого произведения?.. К кому пойти?.. Семью опозорила!..

Живя в соседней с Брусовым деревне, родители могли и не знать, кто обрюхатил их дочь. Ходит на работу, гуляет на вечеринках. Ну не караулить же, кто увивается у её ног?

— Поженимся!.. Что-то не видно твоего женишка! Натешился кабель и морду в сторону...

Анисим снова грохнул своей пятерней по столу: «Вон из избы!.. Невеста...»

Словно током пронзили Варьку слова отца. Сжалвшись в комок, будто загнанный в клетку зверёк, она прилипла спиной к стене. Невыносимый, жёсткий комок подкатил к горлу. Не снимая с гвоздя только что повешенное пальто, Варька попятилась в заполненные сумерками сени...

Нет, она не шла к реке. Она бежала. Раскрасневшись от бега, словно только что вышла из бани, она стремглав неслась к берёзе...

«Куда это Варька в такой час? — пронеслось в голове у Марии Петровны, которая, стоя на деревянном мосточке, полоскала бельё. — Не иначе, как Анисим снова воспитывал свою красавицу — дочь. Ой, девонька, девонька, загубила себя раньше времечка».

Мария оставив бельё, шагнула в мелководье реки...

Варька вбежала на крутизну обрыва. Обняла берёзу, прижалась щекой к стволу, покрывшемуся лёгким морозцем.

– Дима, любимый мой! Не могу больше! – Варька рыдала. – Берёзонька, подружка моя вечная, помоги!

Потом повернулась спиной к прохладному стволу и выпрямилась над обрывом, откуда медленно, как царица, поднималась ночь. Там внизу, чернел первый – первый, ещё не окрепший лёд. Но чем больше она ненавидела себя, тем сильнее росло в ней чувство любви к Диме. Ей казалось, что вот сейчас она перегорит этой любовью и согревшись пеплом, кинется вниз. Вдруг Варька почувствовала у себя внутри лёгкий толчок... другой: вторая, маленькая, жизнь билась у неё под грудью – и она попятилась назад.

– Нет!.. Ни за что!.. К Марии Петровне пойду. Пусть она мне будет судьёй...

Варька хотела прошептать, но получился крик, эхо которого понеслось над рекой.

– Не могу больше! Не могу! Тётя Маша!..

– Что с тобой? – с колотившимся сердцем, едва выбравшись из-под берега, спросила Мария. Чужая беда отзывалась в ней, и её было, как в лихорадке.

Варька оторопела, увидев перед собой Димину мать. И не веря, что перед ней действительно Мария, бросилась к ней, уткнулась в обледеневший передник и зарыдала: «Простите нас, Мария Петровна... И меня, и Диму... Не успели вам сказать... Мы любим друг друга, – Варька достала из-за пазухи письмо от Димы. – Вот... И берёза тому свидетель».

У Марии на миг остановилось сердце. Обнимая Варьку, она заметила на белом стволе слова, которые не-трудно было разглядеть в наступивших сумерках: Дима + Варя.



— Значит, это мой бесстыдник... Ай да сынок...

Мария легонько откинула голову Варьки:

— А ты что ж это? Сразу всех задумала погубить: и себя, и дитё, и Диму?..

— Тётя Мария...

— Нет, не бывать этому! — Мария расстегнула пальто и прикрыла им дрожащую девушку. — Раз такое случилось, что моя кровь через сына в тебе течёт, значит, ты наша.

Потом взяла Варьку за руку и как-то ласково, по-матерински, сказала:

— Пойдём к нам, дочка... Самовар поставим, чаем согреемся, а Диму вместе ждать будем...

Онишли через Таех в брод. Первый, ещё тонкий, неокрепший, лёд ломался у них под ногами, и, казалось, он таял, соприкасаясь с людской добротой.

Так уж издревле ведётся на земле:

в одно и то же время где-то рождается, где-то умирает человек, где-то засуха губит всё живое. Где-то...

На Малобрусовской улице села летним утром вспыхнул пожар. Горел дом Шаховых, что приотился на берегу притока Таеха – речки Спиридовки.

Бабка Матрёна рано утро, перед сгоном скотины, пошла доить корову. Засветила фитилёк, поставила его на край перевёрнутой вверх дном кадки, а он, грешным делом, покачнулся к лежащей рядом соломе. Матрёна уткнувшись под бок бурёнки, не заметила за спиной надвигающейся беды и поняла её только по беспокойству скотины и шуму огня. Семья в это время ещё спала. Пока Матрёна, не растерявшись, открывала задние ворота, выгоняла скотину и, крича, пробиралась сквозь дым в избу, сени и двор уже пылали. Семья спросонья выскочила в чём было...

Колхоз не оставил семью в беде. Всем миром валили лес, по ночам на конях вывозили в село. Поздней осенью справили новоселье. Добродушие и сочувствие горю односельчан помогли Шаховым: им несли одёжку, мебель, посуду, снедь.

Широка русская душа! Доброта, чувство локтя и есть единство народа!

Не успело остыть пепелище в Малом Брусове, как на следующее утро...

Вот уж воистину: беда и горе – родные сёстры...

Николай Иванович Тенятов, колхозный ветеринар, как-то сразу, полюбился в селе. На своей бричке, запряженной резвым жеребцом, за день успевал побывать на всех фермах. Помогал лечить скотину на личных подворьях. Толковый, умный ветврач пришёл по душе и предсе-

дателю правления Ивану Васильевичу. Применённая новая тактика и превосходные знания новоявленного айболита за каких-то пять лет помогли колхозу значительно сократить падёж скота. Проблемы конечно остались, но оптимистическая струя, влитая Николаем Тенятовым в животноводство, вселяла надежду. Новым было и то, что в тексты актов о причине падежа животных рядом со словами «общее истощение» или «общее заболевание» он вносил такие замысловатые научные термины, что не зная основ этой науки, трудно было что-либо понять. Председателю ветврач объяснял текст просто, а районному начальству, как всегда, спокойно резюмировал: любое живое существо получает в старости то, что заложено было в его молодости.

Так, перевернув с ног на голову факт падежа животного, Николай Иванович получал подпись на документе в районном управлении.

Весельчак ветврач всегда собирал около себя людей. В компании Николай говорил всегда спокойно, но стоило заглянуть ему в рот, как внутри начинало всё копиться и клокотать, вырываясь наружу неуёмным смехом.

Если дело доходило до любовных историй, Николай говорил мужикам: — «в амурных делах, как на войне, нужна отвага, иначе жизнь сама всё расставит на свои места».

Ветврач любил выпить, и, чего грех таить, колхозники сами при случае «благодарили» его за услугу бражкой и самогоном. Он не отказывался. Но пьяным его не видели. Так, слегка.

Любил слабый пол. Вдовушек или одиночек. И как бы не ложился *его* глаз, на *семейных* — ни-ни. И если, бывало, со спокойной, уравновешенной женщиной не складывались любовные отношения, а мужики, узнав, подтрунивали над Николаем, он, как обычно, спокойно мог урезонить зубоскалов фактом:

— Что ржёте, мерины! Ещё с древнейших времён замечено, что сила женщины таится в её слабости!

В народе за глаза называли его юбошником, а за широкие штаны, что он носил, — портошником.

У них с женой Валентиной детей не было, а ведь семья без детей, что изба без окон: всюду сквозняк. Они жили для себя. Из-за частых возлияний Николая в семье возникали ссоры, доходящие до скандалов. В деревне Бахаевская, где жили Тенятовы, к этому уже привыкли. Поначалу, как приехали в колхоз, Валентина, видя его продолжающиеся выпивоны и любовные похождения, ругалась с соперницами, устраивала драки, била стёклла в окнах. Но потом махнула рукой: себе дороже, а горбатого могила исправит, и как-то незаметно, вступив с собой в противоречие, сама стала погуливать. «А что? — говорила она себе в оправдание. — Муж гуляет, и у меня не семеро по лавкам».

Николай, прослышав про шашни жены, спокойно носил «рога» незримой навесой и если становилось иногда тяжело, уходил на свинарник. Если он чувствовал какой-то намёк со стороны досужих мужиков, в ход пускал щутки, побасенки. Они-то из его талантливой головы лились как из рога изобилия.

Как-то раз, стоя в очереди у сельпо, Музгар Степанович увидел ветеринара «навеселе», сочувственно сказал ему:

— Николай, погубит пьянка твою умную голову. Охолонись.

Но семья Тенятовых жила, веселя себя и потешая односельчан. И пришёл час, когда радость и беда сошлились вместе...

Багровый закат июльского вечера покрывал деревню Бахаевскую, стоявшую на высоком берегу Таеха, каким-то красновато-медным окрасом. Казалось, полыхал вселен-

ский пожар. Ни тучки, ни золотой полоски — шва, что соединила бы небо и землю — один сплошной багрянец.

От заросли липняка, что приютился с южной стороны овчарни, по тропе к дому шёл Николай Иванович Тенятов. Ноги его выписывали кренделя, из кармана широких штанин выглядывала красной сургучной головкой бутылка с мутноватой жидкостью. Сил и сознания его хватило лишь на то, чтобы снять обувь у чисто вымытого крыльца, вползти на него и рукой дотянуться до двери и раз стукнуть.

На стук вышла Валентина.

— Приполз, кобелина? — со злом спросила жена. — Ну и лежи тута! Не скули и не царапайся!

Она ногой отодвинула от порога его «моши» и ушла, закрыв за собой дверь.

...В забытье ветеринару приснилось, будто он в бане. Жарко. Душно. Он очнулся, сполз с крыльца, на согнутых ногах подошёл к кадке, ополоснул лицо водой и, оглянувшись на избу, пошёл в огород, в огуречную грядку.

Жена недавно полила огород — в грядках и в бороздах было сырь. Присев на корточки, отпил несколько «булек» жгучей влаги, похрустел пупыристым огурчиком-зеленцом и... тихо свалился в мокрую борозду.

Где-то за полночь, лишь прокричали первые петухи, Валентина вышла на крыльцо. Мужа не было видно. Оскорблённая душа её не почувствовала беды — утром она нашла мужа в борозде... мёртвым.

Диагноз был таков: замёрз. Но для односельчан он звучал обескураживающее и непонятно: «Как? Летом?» Врачи пояснили: умер от переохлаждения.

...Царство небесное ему, Николаю, всем угождавшему.

Вечером в конце августа, когда

уборка была в разгаре, как всегда, усталый Андрей пришёл домой. Зашёл в избу тихо. Поплескался у рукомойника, опустился к столу на лавку. Мать вышла из закутка возле печки.

— Устал, сынок. Ведь весь день на ногах, не евши. Разве так можно? — сокрушилась Прасковья. — Я сейчас.

— Мама, потом. Посиди со мной.

— Что, Андрюша, наболело? — Прасковья села рядом с сыном. — Вижу. Сердцем чую твоё сердце.

— Мама... — Андрей никак не мог собраться с мыслями. Шёл, казалось, к разговору готов был.

— Мама...

— Слышу, сынок. Вот я. С тобой.



Прасковья взглянула на сына.

— Всё о ней думаешь, о цыганке... Я, конечно, перечить не стану, только всё ли ладно будет, сынок? Вижу, что страдаешь, вижу, что любишь. Поступай так, как тебе подсказывает сердце. А так девушка неплохая. Красивая, а работает как! Сколько раз её за два лета на покосе, на уборке видела. Ладная невестка... будет, — одобрила мать выбор сына. — Только как её табор отпустит? Прости, Андрей. Чует моё сердце: трудно будет тебе привести её в дом...

— Мама, осень приходит. Если я не уведу сейчас, может случиться непредсказуемое. Табор снимется, уйдёт, а в нём ей не жить. Мы любим друг друга.

Прасковья вспомнила, как однажды ещё прошлым летом она спросила Андрея:

— Что-то ты сынок, зачастил в лес ездить. Будто забыл там что-то?

— Да, мама, забыл то, что уже никогда не забудешь! Да, мама, никогда!..

— Бог с вами, — мать, встав, перекрестила сына. — Приведёшь, я только рада буду...

Андрей шёл на свидание. Теперь его сердце до конца дней не освободиться от этого плена. Полюбив Галину, он понял, что первая и единственная — это две разные женщины...

Забрызганный росой с высоких кустов ольшаника, он тихо, словно вор, пробирался краем долы к пруду, где должна ждать его Гая. Луна уже успела подняться, и длинные тени от деревьев лежали на зыбкой водяной глади Вазы. Чем меньше оставалось расстояние до табора, тем ярче виднелся свет цыганских ягори³, сильнее колотилось сердце Андрея. Запах земли, мха и лесного перегноя, весь

³ Ягори — костёр, огонь

этот древний и в то же время свежий аромат леса душил его. Он шёл под прикрытием стройных ночных теней. В тиши ночи он уловил чуть слышный плеск родника, куда обычно Гая приходит по воду, и остановился. «Неужели Маугли не передал ей?.. – подумал Андрей. – Нет. Не может быть. Он хитрющий, ходит по лесу как кошка. Но что это?»

Андрею показалось, что меж стволов мелькнула знакомая индырака, и в то же мгновение из-за кустов вышла она, Гая.

...Прижавшись друг к другу, они шли в глубь леса, к пруду, подальше от табора.

Гая заулыбалась:

– Ну и хитёр твой Маугли! Вырос словно из-под земли. Даже испугал меня...

Выбрав удобную валежину, они присели. Андрей обнял Гаю и прижал её к себе с нежностью без бурной ласки.

– Я люблю тебя, – тихо сказал он.

– Я верю тебе, – так же тихо ответила она. – Но как быть? Кафран не отстанет. Он сказал мне и моей маме, что если он заметит меня с тобой, – убьёт. Я знаю его. Он это может сделать.

– За тобой следят?

– Даже когда я иду по воду к роднику, особенно вечером, кто-то в последнее время непрестанно, невидимо следит за мной.

– И сегодня? – взволнованно спросил Андрей.

– Нет. Сегодня он пьян. Женщины принесли с ворожбы хорошие подарки. Однако долго мне быть в отлучке нельзя.

– Но ведь есть закон...

– У цыган, Андрей, нет законов. У них есть обычаи. Обычаи дикие, – ответила она. – Я в родстве по отцу с его

покойной женой. Он забил её за то, что она мало приносila...

Девушка помолчала, потом снова заговорила.

— По нашему обычаю, я должна теперь, как подросла, стать его женой... но я не люблю его! — она повернулась лицом к Андрею. — Тебе ничего не грозит. Он не дурак, тебя не тронет. Но я боюсь...

Руки потянулись к рукам. Рядом глаза вопрошающие, доверчивые. Галина подняла к Андрею лицо. Ни недоверия, ни вопроса в немногого грустном, но твёрдом взгляде: — У меня цыганское воспитание... Но, как говорится, узлы развязаны, концы обрублены — плаванью быть... Возьми меня, Андрей! — голос Гали дрожал, - я готова... прямо здесь, сейчас стать твоей...

Она со слезами опустилась перед ним на колени.

— Возьми и уйдём! Сегодня, сейчас, сию минуту!

— Не плачь, любимая. Всё будет хорошо! — он осторожно пальцем смахнул с её глаз слёзы, поцеловал в солёные тёплые губы.

— Что скажет твоя мама?

— Она тебя знает. Я ей говорил о тебе. Она не против.

— Мы будем счастливы, Андрей?

— Любимая, мы и так счастливы. Счастливы тем, что любим друг друга, ничего не требуя в замен.

Слова Андрея взволновали девушку. По телу пробежала лёгкая дрожь. Так как щека Андрея покосилась на тёплое ложе её молодой груди, она потянулась ему навстречу своими губами. Это был продолжительный поцелуй. Безмолвный глубокий. Затем рывок, внезапная борьба, стремительное утоление страсти... Потом они, уставшие и всё ещё полные нежности, долго не разжимали объятий.

— Андрей, — нарушив молчание, сказала Галя, — я ведь не такая, как цыгане. Что же ты не спросишь почему?

— Почему?

— Я метиска. Мать мою цыгане где-то на вокзале украли. Совсем молодою замуж выдали. Отец, говорила мама, сильно любил её. Как ты меня, Андрей!.. Он был хорошим человеком. Я вторая у мамы. Первый ребёнок рано умер. Когда родилась я, отец, сказывали, весь день пел, плясал, держа меня на руках орущую на весь табор, и говорил: «Эта обрусившая далеко пойдёт, гордой и смелой будет! Эта... из-за смелости своей не умрёт своей смертью...»

И Андрею:

— Как ты думаешь, почему так сказал отец?

— Я не думаю об этом, — он наклонился и поцеловал её.

— У нас была самая лучшая кибитка после барона. Но вскоре отца не стало...

Она помолчала немного и продолжила:

— Я обтрёпанная ветрами, умытая ливнями, насквозь пропахшая ночными туманами. Мы, цыгане, народ стихии. Могу купаться в ледяной родниковой воде. Мама говорит мне: «Если у меня украли детство и всю жизнь, можно сказать, так хоть ты, дочка, иди к людям». Когда я рассказала ей о тебе, Андрей, она проплакала всю ночь из-за туманного моего счастья и опасения. Брось, говорит, и меня и табор, иди сама с ним.

— Мы заберём твою маму с собой, — пообещал Андрей.

...Оранжевая краюха луны прошла уже полнеба, и причудливые тени пересекали их маленькую поляну. И среди этого таинственного океана листвы и тени стояли двое. Они прощались до завтра, чтобы встретиться вновь и больше не расставаться.

Галина тихо подошла к роднику.

В его чёрной, но как слеза, чистой воде отражалась золотым блюдцем луна. Галия постояла немного, любуясь блюдцем, потом наклонилась и зачерпнула его в ладони – и блюдце в ту же секунду раскололось на мелкие кусочки. Она поднесла остаток воды в ладонях к лицу и вдруг услышала, как что-то треснуло у неё за спиной. Галия резко выпрямилась и оглянулась. Никого. Лишь мелко шелестели в своём вечном озобе листья осины.

Тогда она наклонилась снова, нащупала в осоке кувшин и, зачерпнув в него воду, легко и быстро направилась к табору. Но что это? Треск и шорох повторились. Галия ускорила шаги. Сомнений не было: за ней следят. Хруст веток под чьими-то шагами слышался всё громче и чаще. Это её больше беспокоило, чем удивляло. Не оглядываясь назад на тревожное чьё-то присутствие, девушка быстрыми шагами обогнула пруд и, выйдя из молодого ольшаника на край долы, остановилась в еще большем недоумении: На поляне ярко горели ягоды. Шатры собраны и уже уложены в повозки. Особенно ярко горит вон тот, что в центре, ягоды. «Бежать в деревню к Андрею? – мелькнуло у неё в голове мысль. – Не выйдет. Догонят... За мной повсюду следят. Вон, прохаживается баро Кофран.»

Сзади снова раздался громкий шорох, и она обернулась

– Не бойся, – раздался негромкий голос, и из-за кустов вышел Роман.

– Шпионишь? – тихо, без злобы проговорила Галия.
– Вот, значит, кто.

– Не обижайся. Ты же знаешь, что я тебя люблю, – то ли на укор, то ли на вопрос её ответил Роман. – Я каждый вечер, когда ты уходишь из табора к бригадиру на свидание, тоже ухожу в лес. Нет, не шпионить, как выра-

зилась ты. У Кафрана на это другие псы есть. Просто не могу быть в таборе, не видя тебя...

Они вместе росли, и Роман часто бывал ей опорой. Гаял знала, что он любит её, и, если бы не встреча с Андреем там, на реке, как знать, может...

— Прости и ты меня, Рома... — мягко и нежно произнесла цыганка. — Ну, что ты стоишь? Подойди ближе.

— Я не осуждаю тебя, нет, я люблю. Но ты вопреки нашим обычаям, сама сделала выбор, полюбив гаджо.

— Но ведь обычай наши первобытные! — парировала Гаял.

— Я не о том.

— О чём же, Рома?

— Тебя ждёт баро, — грустно промолвил Роман и оглянулся в сторону костров.

— Ни за что! — почти выкрикнула она. — Никогда!

— Я тоже ненавижу его. У него жажда всего молодого и красивого, как жажда крови у шакала... Он кричит твоей матери о любви к тебе, а любовь — дело тайное, молчаливое...

— Кто кричит о любви, тот не любит, — продолжил он. — Любовь в сердце живёт, а не в словах.

— Что же делать, Рома? — она опустила кувшин к ногам.

— Если б ты вышла замуж за гаджо Андрея, он мог бы мне стать братом, но, если станешь женой баро Кафрана, — словно не слыша вопроса девушки, проговорил молодой цыган, — он будет моим вечным врагом.

— Тогда помоги мне, Рома! — искра надежды сверкнула в её глазах.

— В чём?

— Бежать от Кафрана... Прямо сейчас!

— Не выйдет. Люди баро стоят по всему долу, вплоть до выхода в деревню, да и не могу: я цыган. — Он взглянул на неё и опустил глаза.

— Ради меня. Ради нашей... — она подошла к нему вплотную, взглянула в лицо.

— Ну, хочешь, я тебя поцелую? Ты же любил, когда я тебя целовала, — Галия положила ему руки на плечи.

— Не надо, — он осторожно отстранил её руки. — Твой поцелуй будет жечь мои губы всю жизнь...

Сделав шаг в сторону леса, он грустно проговорил:

— Иди. Тебя ждут. Кафран проснулся злой, приказал: «Бэш чаворо⁴!»

⁴ Бэш чаворо! — цыганское; садись-ка на коня и мотай отсюда побыстрее.

Не в силах задерживаться

где-нибудь долго, снова зашевелились цыгане. Гонимые и томимые беспокойством, они перебираются от села к селу на одиноких телегах — бричках всем табором по глухим просёлочным дорогам, особенно по ночам.

Кафран стоял посреди кибиток у центрального яготи. Оранжевое пламя освещало его одутловатое лицо. Длинное кнутовище торчало из голенища, сложенного, как гармошка, сапога. Вдруг он интуитивно обернулся. Полы чёрного каftана, описав полукруг, повисли на его грузном теле. Усы грозно дёрнулись и поднялись на его верхней губе. Борода взлохмачена: видать, давно у неё в гостях не были ножницы.

— А... Явилась, мадонна?! — он гаркнул так, что все цыгане повернулись в их сторону.

— Воды вот свежей принесла, — проговорила цыганка, проходя к своей бричке.

— Куда? — остановил её баро. — Можно подумать, что тебя не ждали... Воды она принесла... Где была? Говори!

— Я перед тобой, баро, не ответчица, — спокойно ответила Гаяля, и смелее: — Я же не спрашиваю, с кем и где ты проводишь ночи.

Кафран подошёл к ней вплотную. Глаза его сузились. Руки упёрлись в бока.

— Вот ты как заговорила? Вот чему тебя научил твой гаджо!.. Поди... со своим бригадиром и соплеменников своих не признаёшь?

Он взял её за руку.

— Поглядите на неё! — Крикнул подходившим цыганам. — Какая она гордая стала!

— Оставь меня! Я тебе никто! — она отдернула руку.
— Никто, понял, баро?

— Ты моя невеста, и мать твоя дала на то согласие, — Кафран смягчил голос.

— Неправда! — крикнула Галя, глазами отыскивая мать среди цыган.

Та стояла и молилась. Потом упала перед вожаком на колени:

— Оставь её, баро. На что тебе моя девочка? Она молода ещё...

Вожак даже не оглянулся на голос старой цыганки.

— Но прежде чем нам провести брачную ночь (свадьба будет на новом месте) — продолжал вожак, — я хочу чтобы ты умылась.

Он цинично и зло улыбнулся: Не хочу облизывать пенки чужих поцелуев!

Кафран силой рванул кувшин из её рук плеснул ей в лицо.

— Ненавижу! — коротко бросила она баро и повернулась, чтобы уйти.



Но уйти было некуда: плотным кольцом вокруг них стояли цыгане. Просить их о чём-то было бесполезно. Глаза и лица её соплеменников не выражали ни малейшей жалости, сочувствия и сострадания. Её считали предательницей.

Баро под молчаливое согласия табора снова заговорил, сменив интонацию.

— Вот теперь ты стала прежней цыганкой. Иди, смени одежду. Индыраку поярче надень, — спляшем у костра и... в путь.

— Никуда я с тобой не поеду! — не скрывая ненависти к нему ответила Галина.

— Как? Ты остаёшься? — брови его сошлись на переносице. — Что ж? Оставайся, бросай табор, вырастивший тебя... Но знай: здесь останешься не ты, а твоя тень.

Кажущееся спокойствие молодой цыганки бесило баро.

— В тебе ничего уж цыганского не осталось. Настоящая цыганка не изменит обычаям. Или забыла их? Так я сейчас тебе напомню их, красавица!

Он сделал к ней шаг, вытаскивая кнут из голенища. Галия попятилась.

— Что? Или вспомнила?

— Вашей дикости, пакостных, грязных дел, пьяной разнуданности нет предела! Этого не забыть до смерти! Ну, бей! Убивай! Глаза цыганки сверкали. — Но знай! Ты возьмёшь меня только мёртвой!..

Никогда ей не было в цыганском таборе, роду, чтобы женщина, одна из многих цыганок, что испокон веку были безропотно покорны мужьям, восстала против уклада цыганской жизни.

Молодая, смелая цыганка не хотела больше ни гадать мягкосердечным, доверчивым людям, обманывать их, ни просить подаяний, получая кусок хлеба, ни воровать и

приносить мужчинам, чтобы хватило на пьянки и другие удовольствия...

Лицо Гали подёргивала лёгкая дрожь. Губы кажутся, одеревенели. Но, собравшись, она бросила в упор Кафрану:

— Я не хочу больше обкрадывать свою жизнь! Здесь только и слышишь : «Бэш чаваро! Бэш чаваро!» Надоело!

— Ну, закончила свой монолог?.. Теперь мой послушай...

У него от гнева бурлило в груди. В бессильной злобе он резко схватил её за плечи и рванул на себя. Блузка треснула. Лохмотья её остались в руках вожака. В свете костра бронзой блеснула обнажённая девичья грудь. Она была прекрасна, как только что распустившийся цветок! Но даже женственность и красота, перед которыми склонялись мужчины всех времён и народов, не потушили слепую злобу Кафрана.

Гая успела только закрыть руками лицо и грудь, отвернуться от костра, как Кафран, замахнувшись, с силой опустил кнут на её голые плечи. И в ту секунду кнут, опирав полукруг и свистнув в воздухе, обвил её руки и шею. Мерикле⁵, будто спелые вишни с ветки, посыпались на землю. Вожак неистово дёрнул кнутом на себя. Цыганка не устояла и, влекомая силой, упала навзничь...

Стоявшие вокруг цыгане подняли гвалт. С выражением экстаза на лицах одни поддерживали вожака, особенно усердствовали в похвалах старые цыганки, глядя, как глумится он над человеческим достоинством. Другие, щедущие, на словах защищали свою соплеменницу, однако на круг не выходили.

На четвереньках, по-собачьи, выползла одна лишь старая цыганка.

⁵ Мерикле — цыганские бусы.

— Господи! Пошли милость на землю, образумь злодея! Не дай погибнуть моей девочке...

— Не гневи бога, старая! — рявкнул Кафран. — Скажи лучше ей, чтоб не дурила, пока жива!..

— Он убьёт её... — без слёз проговорила старуха, глядя на ночное небо.

... Индырака сбилась вокруг талии, обнажив живот и ноги цыганки. Из рубцов на спине и плечах её сочилась кровь, но Гая молча каталась в ногах вожака, закрывая грудь и лицо руками.

— Ну! — Кафран, тяжело дыша, опустил кнут. — Вспомнила цыганские обычай?! С-с-у-ука!

И, взревев, в новом порыве гнева, пнул её ногой в поясницу. Тело цыганки взметнулось и снова прижалось к земле.

И в этот момент с противоположной стороны, расталкивая цыган, на круг выскочил Роман.

— Не трожь! — крикнул он и в тот же миг оказался рядом с баро.

— Уйди! — коротко бросил вожак. Уйди от греха по дальше!

— Ты сам уйдёшь! — ответил Роман и грудью пошёл на Кафрана.

Баро хорошо знал Романа. Этого не собьёшь кнутом на землю. Этого не заставишь валяться под ногами. Этот тоже глаголит о воле. Он знал силу молодого цыгана, потому, только сверкнул взглядом в его сторону, зло сплюнул и пошёл из круга мимо костра. На ходу крикнул:

— Бэш чаворо!

Роман хотел было поднять возлюбленную, но, сконфуженный её наготой, попросил молодых цыганок отнести девушку к реке, умыть её. Цыганки кинулись к подружке. Она пылала всем телом, бредила, тихо звала: «Андрей... Андрей...»

Роман, не оборачиваясь, ушёл в заросли леса. В суматохе сборов никто не заметил, как двое цыган, отделившись от уходящего табора, направились к реке...

Утренний туман сгущался и, опускаясь на землю, заволакивал дол. Табор уезжал тихо. Брички – кибитки мягко покачивались на кочках.

Кафран, по обычанию ездивший во главе обоза, сегодня остался в замыкающей телеге, указав путь следования табора. Он изрядно выпил и спокойно улёгся на мягкой постели.

На одной из бричек полусидела сгорбленная, обезумевшая от горя старуха. Она шептала молитвы, прося в них бога о спасении дочери. Бричка наехала на толстый корень, и седую цыганку изрядно тряхнуло. Она качнулась и упала на тряпки.

Старуха не слышала и не видела, как возле повозки появился молодой цыган. Наконец, улучив момент, когда бричка проезжала под ветвистой берёзой, вскочил в повозку и тихо позвал.

– Гали...

Ему никто не ответил. Тогда он приподнял шаль на лежащей женщине. Перед ним неподвижно лежала мать Гали. Она была мертва...

Выезжая из Цыганского дала, табор подходил к межрайонной межевой яме. Туман не рассеивался, а наоборот, казалось, ещё больше сгущался. В его молочной пелене никто не заметил, как мелькнула какая-то тень и тут же выросла позади повозки Кафрана. Никто не видел яростного сплетения тел, жаркой схватки на росистой траве и того, как тускло блеснул нож и вожак, тихо вскрикнув, скатился на дно глубокой межевой ямы, а тень, словно призрак, растаяв в тумане, ушла назад к поляне, к потухшим кострам.

Егор Денисов встаёт, как всегда, рано.

Вот и сегодня, сильно хромая, рано пришёл на конюшню. Лошади жевали свежий пахучий клевер, из яслей пахло полем. Егор прошёлся по конюшне, остановился у рыжего жеребца-производителя по кличке Авгур. Года три назад его выменяли у проезжих цыган. Крупный жеребец, самый сильный в округе. Егор похлопал Авгура по крутой шее: «Хорош!»

Затем вывел из стойла быстроногую кобылу Чайку, запряг в телегу, что полегче, решил доехать до леса, где намедни собрал воз сухостоя. До ельника, что у чёрного пруда недалеко — часа через полтора намеревался вернуться. Однако заехал к бригадиру. Во дворе дома увидел мать Андрея, Прасковью.

— Доброе утро, Прасковья! — поприветствовал он женщину и, не дожидаясь ответного «здравствуй», вошёл в калитку, спрашивая на ходу:

- Спит, аль уже смылся куда?
- Спит. К утру только и сомкнул глаза.
- А что так? — поинтересовался Егор.

Он прошёл до крыльца, опустился на чисто выскоблленные доски ступенек. Прасковья присела рядом.

— Да жениться надумал Андрей-то, — пояснила она,
— Сегодня, говорит, мама, вечером придём вдвоём. Приготовься. А чего готовиться-то? Попить и поесть есть что, слава богу, в огороде уже наросло, лето кое-что приготовило. Проживём! Изба большая — заходите!

Прасковья посмотрела на Егора и добавила:

— Да ты её знаешь. Галина-цыганка из табора. Хотя и не нашего она сословия, но на вид...

— А ведь и вправду девка не очень тёмная, — ожидался дядя Егор, — Знакома по покосу и вывозке снопов на

гумно. На возу орудует не хуже мужика. А как она на празднике плясала!

Он посмотрел на соседку.

— Мы ведь с Андрюхой намедни о ней говорили. Любит он её. Красивая девка, — и, хлопнув себя по колену, добавил, — паспорт, что надо! Как раз подходит твоему Андрею!

Да подожди хвалить-то! — смутилась Прасковья, — Время покажет.

— Я что? Я ведь только снаружи, внешне, — он нарисовал в воздухе фигуру, — так сказать, фигулярльно.

— Эх вы, мужики! Вам бы всё фигулярльно да паспорт покрасивее... А на что тебе нужен Андрей-то?

— Да, ёлки-палки сами во двор не едут, а дровишки кончаются.

Забренчала цепь: из-под ворот дома Егора вылез Дружок, услышав знакомые голоса. Денисов оглянулся.

— Что, Дружок? И ты захотел прогуляться?

— Так езжай. Я ему скажу, — промолвила Прасковья, вставая с крыльца, — Пойду, самовар поставлю. Проснётся скоро.

Чайка шустро бежала полевой дорогой. Ближе к лесу туман стал гуще. Дружок, бежавший всю дорогу рядом с телегой, ушёл в сторону и растворился в сизой мгле. Туман в лесу стоял волнами; телега с лошадью то ныряла в молочную пелену, то выезжала в небольшую утреннюю светлынь. Егор свернул с наезженной дороги и вскоре подъехал к груде сухого елового тонкомера.

— Тпр-у-у! — остановил он кобылу, — Приплыли, милая.

Конюх уже уложил на телегу с десяток сушин, как вдруг в ельнике недалеко от него залаял Дружок. Пёс не был дворнягой и не брехал на всю живность подряд. А этот

лай его не был похож ни на что. Лошадь тоже, подняв голову, стала прядать ушами. Появился Дружок. Он скулил, негромко гавкая и делал движения в сторону. Откуда прибежал.

— Не иначе нашёл что-то. Сейчас, — сказал он собаке. Денисов вытащил из передка телеги топор и пошёл за собакой. Тумана в ельнике не было и лес просматривался. Не прошёл он и полусотни метров, как вышел на небольшую поляну и... замер в оцепенении. Топор едва не выпал из рук. Не веря глазам своим, Егор сделал ещё несколько шагов и снова остановился, закрыв глаза. Ему, пожилому человеку, можно сказать, видевшего в жизни всякое, смотреть на это было сверх сил.

...К стволу ели, окружённой снизу большим муравейником, была привязана молодая женщина. По кровоточащим ранам её обнажённого тела сутилась бесчисленная муравьиная армада. Голова её была безжизненно опущена на грудь, прикрытую в беспорядке распущенными волосами.

Вероятно, почувствовав чьё-то присутствие, женщина тихо и глухо застонала.

— Живая! — словно очнувшись от сна, вскрикнул Денисов.

«Что ж ты стоишь, старый пень?» — отругал себя Егор и засуетился.

— Сейчас, милая! Сейчас, касатка! Вот изверги!

Забыв про стыд, дрожащими руками, словно его щандарахнуло током, разрубил у неё за спиной ременные вожжи. Помог еле державшейся на ногах молодухе прилечь на разостланную по земле куртку. Крестясь, снял рубашку, быстро начал стряхивать с её тела насекомых. «Мураши проклятые! Сколько вас!» — приговаривал взволнованно Егор.

Женщина снова тихо застонала и медленно, будто нехотя, открыла глаза. Только сейчас Егор признал её.

— Господи! Галинка! — снова запричтал он, — Вот оказия! Вот беда!.. Андре-е-ей! — закричал он, словно его могут услышать в деревне. Троекратное эхо отзывалось в утреннем лесу: «...рей-ей-ей».

Уловив знакомое имя, Галя попыталась подняться. Тело горело. Её тряслось, как в лихорадке.

— Сейчас, Галинка! Сейчас, милая! Потерпи малость...

Спустя некоторое время телега выехала из леса, и лошадь, пробежав небольшое поле, словно чуя драгоценную поклажу, влетела в розовое от восхода село.

Подходил к концу сентябрь.

Погода стояла сухая и тёплая. Небольшой больничный сквер был выстлан нарядной осенней листвой.

Рано утром в одно из больничных окон постучали. Откинулась штора, и в проёме показалась женщина.

— Позовите Галю.

Вся в бинтах, белая, как Снегурочка, в окне появилась Галя и чужим голосом, не веря себе, сказала:

— Уходи, Андрей, — и отошла от окна. Лицо её помрачнело, на глазах появились слёзы.

«Как же так? — размышлял Андрей, — Почти месяц, как всё одно и то же. Наверное, думает, что она мне больше не нужна. Ведь она ради нашей любви стерпела такое... Галя, Галя! Дурочка ты моя темноглазая, я же люблю тебя!»

Хотя она и не выходила к нему, Андрей каждое утро или вечер приезжал в больницу, привозил домашние гостинцы и букеты запоздалых осенних цветов. Он садился перед окнами на скамейку и сидел там столько, сколько позволяло время. Галя тайком из-за шторы наблюдала за ним и думала: «Ах, Андрей, Андрей... Если тебе придётся взглянуть на моё тело, ты, наверное, испугаешься, отшатнёшься. Нет, не такую ты любил Галю...»

Она старалась не думать о нём, но, повинувшись внутреннему голосу, каждое утро принимала переданный букет, потом смотрела в окно на скамейку, и, если он оказывался на месте, приятная радость, как бальзам, разливалась по её израненному телу.

— Что же ты хоронишься от своего счастья? — говорила Мария, нестарая ещё, но бойкая соседка по койке, — От себя бежиши. Ведь видно, что любишь. Так чего же ради в ясный день наводить тень на плетень?.. И что ты зала-

дила: «Не такая, не такая...» Да будь я такой «не такой», как ты, уж я бы покрутила в своё время!

Она польстила молодой, красивой, как цветок, соседке, удобнее устроилась на койке. Повязка с головы: соседки уже снята, и лицо открыто.

— А на то, что сказал тебе доктор Вагин о купальнике, чхай! Будет ли у тебя возможность на пляжах нежиться? Это, как я понимаю, удел высокопоставленных городских чиновников и более-менее живущих обывателей. Конечно, есть исключения: не блажь, а необходимость, но я, как женщина способна понять тебя.

Мужчины на что смотрят при первой встрече с женщиной? На лицо и ноги. У тебя с этим полный ажур! И привлекалки твои давно, как сама говорила, подсмотрел деревенский бригадир. Так что встань, подними руку и, резко опустив её, проговори: «Купальник мой, ну и хрень с тобой!» — Мария дружелюбно хохотнула.

— Прости меня, подружка, за шутку, а если всерьёз... — она встала, подняла подол халата, — Глянь сюда. Я ведь не совсем ещё старая, а посмотри: на ногах моих, как на древней нашей матушке-земле, холмы да пересохшие русла рек. И ты, прости, может, думаешь, что эти шнурья-зигзаги, что по ночам ногот, появились от безделья на пляжах? Ага!..

Мария опустила подол, глянула на цыганку, присела на койку.

— Я с двенадцати лет на ферме и вместо зонтика от солнца десятилитровые вёдра таскаю.

Галия молча слушала и смотрела на Марию с уважением. Говорливая, весёлая Мария нравилась ей. Долгими часами, днями не давала цыганке впасть в депрессию и первые дни, как няня, поила и кормила её с ложки, пока та не могла вставать. Как она помогала ей своим простым и прямым юмором!

Мария вновь заулыбалась:

— Вот я и говорю. Не разглядывая бугры на ногах моих натруженных, Николка любит со мной в любовь играть. Ох как любит! Сына да двух дочек наиграли. Ха-ха-ха!.. А ты: «Не такая.» Всё думаешь, думаешь. Я тебе вот что скажу: пусть я, может, и отсталая деревенская баба, о пляжах, которых я отродясь не видела, не мечтаю. Наш пляж — отлой берег на Добрице, сплошь покрытый незабудками, лежишь подчас и не понимаешь где. Кругом голубо! А пески в Сочи, где тёмные ночи, не женское это дело!

Мария вновь повеселела.

— Наше дело на работе шевелиться да под мужем двигаться. Детей ему рожать, выполняя своё предназначение на земле. Ты прости меня, Галчонок, балаболку деревенскую. Сдаётся мне, что ты ещё «не распечатана», а я такое говорю...

Гая, вспомнив последнее свидание с Андреем в лесу, засмущалась, краснея лицом. Мария это заметила, но приняла на свой счёт.

— Вот вы, цыгане, вольный народ, и у вас, как замечено, с детьми всё в порядке.

— Я не совсем цыганка, тётя Мария, но жизнь, как вы сказали, вольного народа мне знакома и хорошо известна... Хотите, я расскажу вам... позднее?

Говорливая соседка была не в тягость цыганке. Наоборот, ей было хорошо с ней. Время проходит быстрее. Скоро вечерний обход. Уже поужинали. «Что доктор скажет? А там, может, Андрей придёт...» Но думы об Андрее вновь нарушила Мария.

— Так откуда ты, голубка моя? Запамятовала...

— Из табора. Из леса. От села Брусово.

— Из Брусова? — удивилась и встрепенулась Мария,

— А я из Кром. Соседи, значит. В Брусово мы с мужем не

раз к Егору Денисову хаживали за самосадом. Мой Колька хвалит его табачок. Он у меня не пьёт. Пущай курит. От мужика должен исходить запах вина, табака, ну, хотя бы и керосина... Иначе какой он мужик?!

...Так, значит, видала я ваших цыган. Вы везде шляетесь. Ну-ну! Думай о своих брусовских цыганах, а они что-то не очень к тебе спешат. Скоро месяц, как мы тут отлёживаемся.

Галя неопределённо пожала плечами.

– Ну-ну. Думай, не думай, а мне кажется, что ты, Галчонок, как тот индюк, от дум своих уже в ощип попала. Ха-ха-ха! Осталось только под фанфары тебя к свадебному столу подать! Да, никуда ты, красавица, от судьбы своей не убежишь. Я же вижу! Вон, Андрей-то твой, хоть ты и прячешься от него, не веники из лопухов носит, а букеты последних летних улыбок.

В коридоре раздались шаги. Вошёл доктор.

– Ну, голубушка, – обратился он к цыганке, – идите в процедурный, снимите последнюю повязку. Она вам больше не нужна. Через день-другой домой поедете. И вы, – он повернулся к Марии, – тоже готовьтесь к выписке.

Вечером в окна больничных покоев хлынул алый свет заката, окрасив белые стены небольшой палаты в яркий брусничный цвет. Две подруги по несчастью отдыхали на койках, тихонько разговаривая. Вернее, говорила больше теперь молодая, а постарше, Мария, слушала...

– Да-а, как бы взвешивая услышанное, протянула Мария, – Раз уж так вышло, что через муки, страдания ты вырвалась из диких цыганских дебрей, иди, как тебе называла мать, к людям, и Андрей тебе будет опорой. Но ты всё же росла в цыганской большой семье, что-то принимала, чему-то противилась. Всё равно цыгане – твоя семья. Прости их... И табор постепенно уйдёт из твоей жизни, словно бричка на горизонте облачного неба...

Растревоженная воспоминаниями, что поведала девушка, Мария потом долго не могла уснуть...

Встав на другое утро, Галия не получила очередного букета. Не было Андрея и на скамейке. Не пришёл он и вечером, не явился и на следующий день. Она, грустная, ходила по палате. Сидела у окна в надежде увидеть его. Ждала даже тогда, когда солнце, сняв с верхушек деревьев позолоту, уходило за горизонт. Смотрела на скамейку, пока та не соединилась с тенью ночи.

Мария, чувствуя внутреннюю борьбу в душе девушки, не мешала больше ей своей болтовнёй, а в голове молодой цыганки неустанно роились мысли об Андрее, о разговоре с Мариеей.

«Дура я дура!.. Что он думает обо мне? Сама же словно приворожила его: «Смотри, Андрей, как пляшут цыганки!» Блеск глаз и улыбка, замысловатые движения бёдер и полуоткрытая налитая, как молодые яблоки, грудь, красновато-медный отлив длинных красивых ног в свете ягоры под широкой индыракой. «У вас так не пляшут в избе-читальне! Так плясать может только вольный кочевой народ! Смотри, Андрей, всё для тебя!»

Она подошла к окну. Скамейка была пуста. «Завтра... Доктор сказал... Зачем дядя Егор встретил меня в лесу?.. Ведь мне, наверное, оставалось немного... Кафран, поди, думает, что меня уже нет. Пусть думает! Будь у меня нож в тот момент, я бы зарезала его! А раз я жива, то поквитаюсь с ним! Надо бороться, но только не в одиночку. Подниму, пусть даже часть цыган, сагитирую на осёдлую жизнь. Дасть бог, вольёмся отдельной бригадой в Брусовский колхоз. Но хватит ли мужества? Цыгане не все ко мне лояльны... В конце концов, жизнь человека – книга, которую пишет он сам... А как же Андрей, любовь, счастье, о котором говорили с ним? Выходит, что это и есть одна из

страниц моей книги. Значит, счастье — это лишь часть, кусочек, доля, доставшиеся мне от жизни.»

В последнюю ночь, лёжа на кровати, она всё чаще вспоминала табор, мать, Романа. «Как они там? Мать ведь совсем больная... а тут этот кошмар... Мамочка, я скоро найду тебя!.. А Рома? Если он уже узнал обо мне, я верю: он не простит баро! Ой, не простит!» И созрело решение: «Вернусь в табор!..»

Выйдя из больницы, Галя спросила у людей дорогу на Брусово.

В бригаде Андрея тем временем между основными работами в поле, особенно в ненастье, уже заканчивали ремонт — реставрацию Брусовского старого, давно заброшенного ветряка-маслобойки. Крылья его десятилетие были без оперения, но нутро — печь-жаровня, ударный механизм маслобойных пестов и прессов — хоть сейчас запускай! В пристройке-сарае все эти годы хранились веники для зимней кормёжке овец, да деревенская ребятня играла в прятки. Давно бы... да всё руки не доходили. Ветряк стоял на бугре около молотильного тока, и бригадир, проходя мимо, заглядывал к мужикам.

— Как там Галинка? — поинтересовался у подошедшего к ним бригадира Сашка Костылёв.

— Не знаю. Дядя Егор гонит меня каждый день. Езжай, говорит, к моей крестнице. Как она там? Уже два дня не был. Жаль мне её, хотя доктор Вагин сказал, что опасности для жизни нет, только... рубцы...

— Ты её видел?

— Нет. Она не выходит ко мне...

Сашка воткнул топор в слегу. Закурил.

— Жалеют, Андрюха, только сломанную ветку, а твоя яблонька лишь согнутая... малость. Выпрямится. Молодая. Езжай к ней. Сегодня день какой-то...

Сашка тихонько хохотнул.

— Для влюблённого семь вёрст не крюк, были бы деревни! Я к своей Софье добирался все восемь — и всё пёхом, а ты на драндулете...

Сашка встал со слеги, взглянул на Авдеева:

— Она там одна... Ты ей ой как нужен! Езжай!

После случившейся драки

Николая с Одинцовым Сергея Спиридоныч решил серьёзно поговорить с сыном. Он вспомнил для этого разговора всё: и драку, и пьянки, и займы у соседей без ведома родителей, и, наконец, новость: сын хочет жениться.

Пока сын был на работе, отец ходил по избе и думал, как, с чего начать разговор. Надо, чтобы непременно присутствовала мать.

Николай пришёл засветло. По привычке, на ходу снял пальто, бросил на стул. Отец понял: сын куда-то торопится. Почти что следом вбежал Васька Рыжий.

— Ты поскорее, а то...

— А то что? Опоздаете? — спросил, сидя у окна с газетой, Спиридоныч.

Николай прошёл за перегородку к матери.

— Никуда он сегодня не пойдёт, — сказал Спиридоныч Ваське.

Николай вышел с матерью, и Нина Васильевна во-прошающе взглянула на мужа.

— Ни копейки! — сказал Спиридоныч и обратился к сыну, — Садись ужинать.

— Некогда, папа, — бросил сын и заторопился одеваться.

— Собирай, мать, на стол. Пусть сначала поест. Нагуляется.

Отец отложил газету, сел к столу, взглянув на сына.

— Садись.

Сын подошёл к Рыжему, что-то сказал ему и тот исчез за дверью.

Спиридоныч приподнялся, взглянул в окно:

Рыжий подошёл к парню, стоявшему на улице. О чём-то поговорили и пошли вдоль улицы.

— Это Одинцов?

— Да, — ответил сын.

— Что ему надо?

— К Ерёминым хотели сходить. Володька говорил, что в девять вечера будет какое-то важное сообщение, а после — концерт, — сказал сын, подсаживаясь к столу.

Нина Васильевна подала ужин. «Что-то неладно», — подумала она, глядя на мужа.

За перегородкой гудел самовар.

Сын нервничал, поняв, что отец сейчас опять начнёт «начитывать».

— Куда деньги просил? — вдруг спросил отец, — опять на вино?

— Нет. Володька говорил, что не плохо было бы пару наушников купить. Или жаль? Я же работаю.

— Разве это работа? — повысив голос, произнёс Спиридоныч, — Трудодня в день не вырабатывашь.

— Что ж мы без денег завтра должны в район идти? У меня там блату нет, и никто нам за трудодни в магазине радиодетали не отпустит.

— Дело не в блате, — отец положил на стол кусок хлеба, так ни разу и не откусив от него.

— Мужики мои, что вы разгорячились? Поешьте спокойно, —вступила в разговор Нина Васильевна.

— Погоди, мать, — махнул рукой Спиридоныч, — Это наш сын. Видишь, какой вымахал!

Сила есть, а работать... Ты посмотри на девчат: Варьку, Нюрку, Софью... А ты? Только и знаешь рюмку да юбку. От людей стыдно...

Спиридоныч встал и нервно заходил по избе.

— Но мне нужно немного денег... А работаю не хуже Варек, Нюрок...

— Ты Нюрку не трожь! Она хоть и чужая мне, но всё равно скажу, что в работе ты её одной ноги не стоишь! — отец снова повысил голос, — Она одна из лучших доярок, хотя в колхозе без году неделя, а идёт вровень с опытными животноводами

ми. У неё и в полеводстве... О ней уже знают в районе. У неё хорошая репутация.

— И тебе нужна моя репутация? — Николай тоже повысил голос. Встал из-за стола, — Тебе, папа, хочется, чтобы я шёл со свистом, как паровоз, вот, мол, я!

Отец, понизив тон, подошёл к сыну.

Я не говорю, чтобы ты был рабом, зарабатывал столбики трудодней. И не в деньгах дело. Разве деньги главное?

Он отошёл от сына, стоявшего около окна.

Нина Васильевна молча вышла из-за перегородки, щаркая домашними шлёпанцами. Посматривая поочерёдно на своих мужиков, прислонилась к печке.

— Мне, как ты сказал, на наушники денег не жаль, — продолжил Спиридоныч, — но не надо и так: выработанный тобою трудодень тебе оплатит мать, чтоб вечером пропить трёшницу, считая, что это твои кровные... Как думаешь, это жизнь?

— А что же это такое? — послышалось от окна из-за занавески.

— Что же это такое? — переспросил отец тоном сына,
— Ты прекрасно понимаешь, но корчишь из себя дурачка. Ты играешь на моих нервах! Я что тебе — балалайка на вечеринке?

Отец горячился:

— Негодяй! А ну, повернись к матери!

— Зачем так, Серёжа? — произнесла Нина Васильевна, — Люди мимо ходят...

— Ну и пусть слышат! Они знают, какой у нас сынок! «Что же это такое?» — повторил отец слова сына, — Это не жизнь, а просто человек занимает место на земле.

— Ну уж это...

— Сядь и молчи! Я хочу тебе сказать, что без цели не может быть жизни. И надо знать, как жить. — Он немножко смягчил тон, — А какая у тебя цель? Есть ли она?

– Есть, и я знаю, как жить.

– Молчи. Потом скажешь... Нужно поставить перед собой цель и идти к ней по жизненному пути, а уж каков он будет, это будет зависеть от тебя самого... «Он знает, как жить...» Знать, как жить – это ещё не всё, чтобы жить правильно. Если кроме знания чего-то нет к этому в сердце любви, влечения, духовной радости, то всё это, в том числе, и красота, не войдёт в человека...

Отец внимательно посмотрел после монолога на молчаливо сидевшего сына.

– Ну что же мне делать? – глухо спросил он.

– Полюбить труд и людей, которые трудятся. Целеустремлённость – вот твой девиз, а не благополучие и деньги в твои годы. Ты ещё молод, а молодость сначала должна учить правила и лишь потом постигать исключения. Ты же, сын, нарушаешь естественный порядок вещей, решив жениться...

– Откуда ты это знаешь, папа? – он повернулся к матери, потом снова взглянул на отца и покраснел.

– Земля слухом полнится. Правда, мы с матерью позже других узнали.

– Я же просто пошутил однажды, – оправдывался сын.

– Ты нам пилюли не золоти. Этим не щутят. И девушка хорошая.

Он обратился к жене:

– Ну, как, мать, берём Еленку в снохи? А что уехала, так ведь ей обратно дорога не заказана, да и нам сраму не иметь.

Нина Васильевна молча всплеснула руками. Николай вздрогнул, услышав имя Лены, и встал.

– Кого? Ленку? Ты что, папа?

– Кого же? – отец поднял брови.

– Если уж... то Муравьёву Ниору.

— Кого? — отец подошёл к сыну, — Кого, говоришь?
Муравьёву? Это что — снова новая пассия? А Макеева? —
глаза отца сверкнули.

— Что Макеева? — сын отвёл от отца взгляд, — Я
возьму, кого люблю.

— А Еленку уже не любишь?

— Что значит «уже»? — Николай с опаской взглянул
на отца и вдруг, перейдя на его тон, заявил, — И вообще я
возьму Муравьёву!

— Ах так!.. Ты давно, сынок, не получал нравствен-
ной прививки! Что ж! Пусть и поздновато, но получишь!

Спиридоныч схватил сына за рубашку на груди и с
размаху ударил. Тот, гремя мебелью, отлетел в угол ком-
наты.

— Вот ты кого возьмёшь!

Нина Васильевна вскочила со стула.

— Не надо, Серёжа!

— Надо, как раз надо! Раз такого вырастили, молчи,
мать! Это твой любимец! Пожинай плоды любви к сыну!..

Спиридоныч рукой отвёл жену в сторону.

— Не надо, Серёжа... У тебя сердце... — снова с опа-
ской произнесла жена.

— За что это, папа? — утирая лицо, спросил сын.

— За твои дела... Хорошие.

— За какие дела? — Николай потирал ушибленное
лицо.

— За какие? Ты ещё спрашиваешь, пройдоха! — ки-
пятился Спиридоныч, — Ну-ка, иди сюда.

Николай быстро пошёл к двери.

— Нет уж, погоди! — загородил ему дорогу отец, — За
то, что деньги берёшь у людей на водку, и не отдаёшь...

Сын тихо попятился назад. Шаг в шаг на него на-
ступал отец.

— За драку с Одинцовым. За Еленку, над которой надсмеялся... Напрыгался, кобель деревенский, и морду в сторону!

Николай упёрся спиной в стену и молча смотрел на отца.

— У тебя нет конца развлечениям, да таким низменным, подлым! Тебя словно какая-то чернавка завела в дремучий лес пьянки, любви и разврата! Девчат на селе много — всех не перелюбишь. И раз уж случилось, так будь добр, не позорь ни себя, ни нас с матерью, ни Еленку... Ведь не на пустом же месте случилось это...

— Она сама. Она...

— Молчи! Завтра же женим тебя на Еленке!..

— Папа, у меня сердце, душа, а не женское общежитие... Как сказал Тахир из восточной повести, «две любви в одном сердце не умещаются».

— Сердце? Душа у тебя вдруг объявились? Да какая же у тебя душа? Не душа, а бабья подстилка в женском общежитии... Вот и взял бы пример с того самого Тахира.

— Конечно, можно развесить по заборам объявления, что ваш сын...

— Замолчи! Снова вскипал Спиридоныч.

Нина Васильевна, плача, ушла к печке.

— Завтра же идём к Макеевым, — вслед жене проговорил Спиридоныч.

— Нюрку или никого! — отрезал сын и толкнул дверь.

— Погоди! — отец вновь встал на пути сына, — Значит, всё, что я тебе говорил, ни к чему?

Отец снова, сжав кулак, взмахнул рукой, но вдруг, тут же сведя брови, замолк и стал медленно приседать.

Мать снова вышла в комнату, загородив собой сына, но тот рукой отстранил мать.

— Уйди, мама. Пусть бьёт... Это его право.

Спиридоныч тихо опустился на стул. То ли он почувствовал душевную усталость оттого что уже поздно кричать и бить своего отпрыска... Нет. Сердце... Больное сердце прижало его к стулу.

Отец, показав рукой на дверь, тихо промолвил:

– Вон из избы... Слышишь?..

Николай поднял опрокинутый стул, сел.

– Неужели выйти тем, кто тебя породил?.. Кого ты ранил в самое сердце...

Сергей Спиридоныч молча потирал грудь. Николай встал, шагнул за порог.

– Кого ты гонишь, Серёжа? Опомнись! – проговорила Нина Васильевна, торопливо раскрывая коробку с лекарствами...

– Пусть идёт... Быстрее остынет...

Убрав со стола несъеденный ужин, Нина Васильевна пошире открыла окно и, накинув пальто у порога, сказала:

– Я скоро, Серёжа. Посиди, успокойся...

Какая-то духовная усталость овладела всем телом Спиридоныча. Он тихо сидел, опустив на грудь тяжёлую, словно свинцом налитую голову. Внутри жгло невидимым огнём. Вдруг какая-то сила заставила его встать, выпрямиться, сделать в сторону окна два неверных шага и грузно всем телом рухнуть на пол...

Темнело. В раскрытое окно тянуло прохладой. Она беззвучно всколыхнула лёгкую занавеску и, взъерошив волосы лежавшего без дыхания Сергея Спиридоныча, разошлась по избе.

Догорели наряжными кострами

осени леса вокруг села Брусово, улетела в тёплые края последняя, запоздалая птичья стая. В полях и лугах было свежо и тихо. Седая, хрупкая изморозь покрывала ветки берёз, а у их корней застыли скованные морозцем золотистые листья.

Иногда к полудню солнце освобождалось от туч и угоняло в лесные уроцища, в низины Таеха, белёсый туман.

Несколько раз по ночам выпадал снег, но всё равно скопое на тепло осеннее солнце после полудня не оставляло от него и следа.

Однако через неделю после очередного обильного снегопада установилась морозная погода с метелями по ночам...

Плотно закрыв за собой дверь и слегка покачиваясь, Николай остановился посреди комнаты. В который раз за полтора месяца приходит он после работы вот так в пустую избу, где нет ни материнского тепла, ни строго спрашивающего отцовского взгляда. Вот и сегодня хватил «с горя» с Васькой Рыжим и... Снова пустой дом. А Нюрка?.. Нет, пьяный он не пойдёт к ней.

Не снимая одежды, Николай забрался в кровать. Быстро темнело. В избе была тишина, только маятник ходиков монотонно шагал на одном месте, отстукивая время.

За окном начиналась метель. Неожиданно с улицы донеслись голоса, а потом заиграла гармонь и девичий голос задорно запел:

Дорогой мой, дорогой,
Выходи гулять со мной...

Николай прислушался: «Нет. Это не Нюрка». Он повернулся на бок и закрыл глаза, стараясь не слушать улицу. Но ветер выхватывал отрывки частушек, неся их по деревне.

...Я девчонка неплоха,
Выбираю жениха.

– А, чёрт! – выругался Власов и, схватив подушку, с силой опустил её на голову.

Но заснуть так и не пришлось. Он взглядом отыскал стоявшую на столе бутылку. Потом встал. Налил стакан. Залпом выпил и опустился на стул.

Через минуту-другую встал, подошёл к окну. Он увидел качающиеся на ветру деревья. Ветки сирени то и дело, скрываясь в снежной карусели и выныривая из неё, хлестко ударяли в стёкла окон. Казалось, они не качаются, а в ужасе мечутся по палисаднику. И очень жаль, что в этой суматохе идёт жизнь, которая в любую минуту может оборваться от напряжения.

Николай подумал о матери, которая после смерти отца надолго оказалась в больнице.

«Мама, твой сын снова пьян... Прости меня... Я завтра к тебе приеду...»

Власов снова уставился в окно. В палисаднике по-прежнему качались деревья. Их было много: два, пять, десять – и все они ошелело метались на ветру.

...Жизнь полна шума, и среди него часто можно прослушать какую-то важную информацию, чей-то голос, которые так необходимо тебе услышать, которые могут направить тебя к цели.

И вдруг в этой снежной карусели на фоне кустов Николай увидел лицо отца... Словно из-под земли послышались его слова: «А есть ли у тебя цель? Какая она?...»

Николай в ужасе отпрянул от окна на середину комнаты. Лихорадочно стал искать спички, чтобы зажечь лампу, а голос продолжал: «Нужно поставить перед собой цель и идти к ней. а какой она будет, это зависит от себя самого.»

– Что же мне делать? – словно живого отца, а не привидение спросил Николай.

Тот же голос ответил:

– Полюбить труд и людей, которые трудятся. Труд и целеустремлённость – вот каким должен быть твой девиз...

– Отец! – крикнул Николай и кинулся к окну, прильнул лицом к холодному стеклу, но привидение исчезло...

Вдруг он рванулся к порогу. Не закрывая за собой дверь, кинулся на улицу в метель. Он бежал вдоль деревни, ни на что не обращая внимания. Какая-то невидимая сила несла его навстречу ветру. Вот он миновал мост через Тахех, поднялся на просёлочную дорогу, ведущую к погосту. По большой голой липе определил место могилы. Упал на снег. Обхватив свежий сугроб руками, глухо застонал:

– Отец!.. Прости меня... Если можешь, прости... Да поднимись же ты, папа...

А метель уже занесла его следы на дороге, всё выше и выше поднимался на могиле снежный холм, и ветер, раскачивая старые деревья, свистел в их голых ветвях.

Русское поле – это, прежде всего, тяжёлый

крестьянский труд. И делать на этом поле надо всё хорошо. Не зря на селе говорят: «Лучше голодай, а землю добрым семенем засевай».

Необыкновенное, неописуемое чудо – поле русского льна! Целая эпоха пройдёт, прежде чем вы наденете рубашку-косоворотку, сядете за стол, накрытый белоснежной льняной скатертью-самобранкой и станете есть горячий овсяный кисель, сдобренный Его Величеством льняным маслом...

Прогреется вспаханная земля – и придут в поле мужики. На груди у каждого – лукошко или холщовая сумка, подобие конской торбы. Мужики встанут в ряд и начнут сев: возьмут щепоть сыпучего семени (в горсть не возьмёшь: утечёт сквозь пальцы, словно вода) и пойдут по полю в ногу, одновременным взмахом рук, кидая вперёд себя это чудодейственное семя!

Пройдут майские косые дожди над полями, и сначала маленькие хрупкие стебельки, словно ёлочные всходы, покроют землю. Пройдёт время, и заколышется на поле зеленовато-голубой массив. Наступит пора цветения. На восходе солнца и в часы, когда дневное светило вновь собирается покинуть землю, поле льна покрывается голубым цветом. Куда ни глянь, всюду голубизна! Смотришь вдаль – не видно горизонта, поле сливается с небом. А подует ветерок, и заволнуется эта голубизна от его прикосновения, словно море. Наклоняются под ветром его тонкие стебельки и, не успев подняться, накрываются новым гребнем, словно волной. Красота! Не оторвать взгляда от этого дива!

По утрам, когда солнце поднимется и согреет воздух, опадает эта голубизна на землю, будто само небо опускается к ней. И так целая неделя, пока лён не начнёт

колоколиться, покрываясь крупным зелёным бисером колоколушек.

К концу лета на светло-коричневых стеблях загремят созревшие коробочки. Застрекочут по полю конные теребилки, да бабы в земном поклоне будут дёргать упругие стебли с утра до вечера. Цыгане не соглашались на такую работу: берегли руки для гадания. Иногда присыпали из городов Шуи или Иванова студентов, но их энтузиазма хватало на день-два: кожа на ладонях трескалась, покрываясь кровоточащими трещинами и мозолями. Привыкшие же к чёрной работе руки колхозников доводили дело до конца.

Уберут с поля выстоявшиеся десятки, свезут на гумно, обмолотят семя и отправят на маслобойный завод-ветряк. Строят такие заводы недалеко от села на возвышенном, продуваемым всеми ветрами, месте. Семя не мелют, а толкуют в ступах тяжёлыми молотами-пестами до образования воздушной тёмной маслянистой массы. Смочив водой, отправляют её на горячие противни-жаровни и, помешивая, прогревают. Прожаренную, дымящуюся массу раскладывают по глубоким формам-противням с сеткой на днищах и – под пресс – те же тяжёлые песты-молоты для первого отжима. И потечёт по лоткам во фляги первосортное льняное масло. Кто его пробовал, тот знает, что нет никакого другого масла пахучее, слаще и полезнее!

Жёсткие же стебли после обмолота расстелют по осенним туманным лугам и ржаной стерне. Окропят их дожди и тяжёлые ночные росы, а днём обласкают ветры да скучое осеннее солнце – идёт двухнедельный процесс влажной отбелки. Улежится лён, поднимут его бабы серпами, свяжут в небольшие, по три фунта, снопы и свезут в ригу на прожарку. Так появится треста – сухая льняная соломка. Пропустят горячую, прямо из печки, тресту через мялку – две спаренные шестерни, и женские руки тонкими,

плоскими, как старинные боевые мечи, трепалами вытряплют из соломки костерю. И заиграет в руках трепальщиц всеми оттенками серо-белых тонов северный шёлк – «рубаха»⁶! Из глубокой старины пришло и живёт в деревне другое название льна – «рубаха», а она в этом году уродилась на славу. Лён-долгунец стоял в поле выше пояса! Так что колхозники обеспечили себя на всю зиму тяжёлой, трудоёмкой работой.

А зима нынче пришла ранняя, метельная. Сразу после октябрьских праздников лёг снег, укутав для отдыха земную грудь белым покрывалом. Последние листья с деревьев опадали уже под тяжестью выпавшего, да так и не растаявшего снега. Обильно выпадавший по ночам, он заносил улицы деревень косыми сугробами и по утрам, словно молодая целлюлоза, сверкал на солнце мириадами искр.

В одно такое утро Власов вышел во двор, чтобы расчистить от снега ведущую к калитке дорожку.

– Честь труду! – услышал он голос бригадира.

– Слава коммунизму! – отозвался Николай, втыкая лопату в снег, – Много снегу сегодня выпало. Что там, в небесной канцелярии, не спится? Метут и метут святые, – с иронией продолжил Власов.

– Да. Нынешняя зима работает без выходных, – подтвердил Семён Ильич, – Это с одной стороны, хорошо. Весной он добрую услугу нам окажет...

– Ты, Николай, – кивнул бригадир в сторону риги, на «рубаху». Вчера маховик у привода поломался. Ну, вы молодые, до полудня едюжите, а там и агрегат запустим.

– Кто ещё? – спросил Власов, беря снова лопату.

– За Василием зайдёшь, да Нюрку сейчас крикну. Поди, справитесь?

⁶ – Рубаха – старинное название льна

— И что всё с девчонками?

— Ну, ладно, Николай... Тебе нигде ни с кем не нравится, — с укоризной произнёс Семён Ильич. Николай с какой-то непонятной злостью швырнул лопату в угол двора: «Эх, Нюрка! Заноза ты моя сердечная! И любить больно, и выдернуть не могу...»

Преста была крупной, и пропускать её через мялку приходилось по два-три раза. Как ни старались ребята, всё равно трепальщицы, то одна, то двое, стояли без дела. Пот градом катился с Васьки в тёплом пелёве⁷, а Нюрка подавала и подавала снопики. Временами она подбадривала:

— Ребята, отстаём! Крути, верти, наматывай — трудодни зарабатывай!

Рыжий не стерпел:

— Мы что? Машина?

Женщины понимали: нелегко им. Но Нюрка не унималась.

— Докажем, ребята, что труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!

— Ничего себе, геройство... — сказал раскрасневшийся Васька, — Ну. Сказала... Сама бы...

— А что? — Нюрка отошла от стола подачи и встала около Рыжего, — давай!

Она озорно посмотрела в сторону Николая.

— Иди! Сами справимся, — отстранил её рукой Васька.

— Ты не гляди, Васька, что Нюрка — девчонка. Она закрутит тебя, — проговорила озорная Верка Королёва, — Это тебе не шашни...

⁷ — Пелёво — тёплое помещение в риге.

— Бери ручку! — сказал Власов Нюрке, — А ты, Васька — на подачу. Посмотрим, такая ли она красивая на деле, как на словах.

Снова затрещала соломка. Снова поднимались и опускались мечи-трепалы в горсти льняной кудели, и снова пыль закружилась по пелёву. Власов крутил, не давая Нюрке разогнуться.

— Ну, как? — шутливо спросил Власов.

— Не беспокойся, — ответила Нюрка, — у меня рёбра не дольные.

— И что это вас лад не берёт? — вмешалась Мария Петровна, — Как вместе, так тесно.

— А это Николай в комсомол готовится... Анкеты заполняет, — показав в улыбке железные зубы, снова проговорила Верка.

— Нужны там такие! — без злобы сказала Нюрка.

— Ну, знаешь! — Власов перестал крутить, — Там тебя не спросят.

— А вот и спросят, — парировала Нюрка.

— Здорово, молодцы! — послышался голос с порога, — Здорово, бабоньки!

Все оглянулись. В дверях стоял Егор Денисов в полушубке и шапке-ушанке.

— Здорово, селяне! — повторил он приветствие и прошёл в глубь пелёва, поставил ящик с инструментом на стол подачи.

— Устали? Это видно... Вон сколько сминок натрепали! — и женщинам, — Идите пообедайте, отдохните, а мы тут с мужиками агрегат починим. После обеда кобылу в привод впряжём.

Женщины ушли.

— Иди, Васька, и ты, — сказал Николай Рыжему, — мы тут с Кузьмичом одни справимся.

— Миколка, подай-ка ключ на восемнадцать да маслёнку, — послышался голос Егора из-за маховика привода.

Николай подал.

— Э-э-э... — протянул вскоре Кузьмич, — Да тут делов-то с рыбью ногу... Это мы сейчас. Возьми-ка ломик да подержи вот тут. Так. Хорошо. Сейчас заменим шатун, закрепим — и вся недолга... Да что ты молчишь? Устал поди?

— Есть немного, — ответил Николай, — Только зря руки ломали: поломка-то пустяковая.

— Как это зря? — возразил Денисов, — ничего зря не делается, дорогой. А что устал, так это тебе не титьки девкам щупать и не на лавочке шушукаться.

— А я и не шушукаюсь.

— Как это? — крякнул Егор, закручивая гайку, — А кто с Макеевой за рекой бродит? А кто на скотный двор к старожихе ходит?

— А, деревня! — огрызнулся Николай, — Сплетни! Это всё Верка, старая девка, бузу разводит.

— А ты не деревня? Гляди-ка, горожанин нашёлся! — усмехнулся Егор, — А что сплетни... Ну-ка поддержи вот здесь. Так ты сам им пищу дашь, — продолжил Егор Кузьмич, — Вот опять же про Ленку... Увидел народ, что девка тяжелеет... Слух пошёл.

— Болтовня! — не унимался Власов.

— Люди болтают — зря не скажут. Правда, может, краски не те, но картина-то налицо.

Егор вытер руки тряпкой, стал складывать инструмент в ящик.

— Любила тебя Ленка, но, видно, постоять за себя не смогла. Она просто ослепла от тебя, вот и уехала. Только знай: не каждая бабочка на яркий мак летит. Другая более скромный цветок предпочтёт.

— Это верно, — согласился Николай.

— То-то и оно, — подтвердил Егор Кузьмич, — Ленка уехала, тебе облегчение сделала. Но ведь, извини за сравнение, не каждая собака побежит, если ты в неё палкой бросишь. Другая за тобой пустится.

Кузьмич достал кисет, уселся на столик мятки, стал закуривать: «Да... Зря...»

— Что зря, дядя Егор?

— Да хотел было Музгара Степаныча позвать с собой к приводу-то, да некогда ему. Он, кроме хорошего знания железок, умно говорит на эту тему, сдабривая свои суждения фактами из жизни.

— Все учат, учат...

— Да не учить, а просто сказать хочу о том, что пора тебе, Миколка, к месту приживаться. Гнилое бревно по реке плывёт, и то свой затон ищет.

Кузьмич затянулся самосадом.

— Мало тебя Спиридоныч порол, — серьёзно произнёс Денисов.

— А он вообще меня не бил.

— Вот-вот. Пора и без порки за ум взяться. Сила есть, споровка — тоже, фотокарточкой бог не обидел, а живёшь, как кочет.

— Это какой такой кочет. Дядя Егор?

— А такой. Откукаrekal, а там хоть не рассветай! Прокричал своё «Я», а посмотришь: не на той жерди сидел, не той песни пел...

— А если любовь? — возразил Власов.

— Любовь?.. Да тебя просто к юбке тянет, а ты говоришь «Люблю».

— Ну, а если? Если нравятся красивые?

— Это хорошо, что нравятся. Но если у тебя, кроме того, что ты видишь красивое, нет к нему в сердце любви, чистого, светлого влечения, ни в чём не погрешишь мысли, то духовной радости от своей любимой не получишь,

её красота не войдёт в тебя, хотя и был с нею близок телом...

— Да, бывает, что разочаруешься...

Николаю нравилось вести разговор с дядей Егором один на один, и он не хотел, чтоб он быстро кончился. Семь с лишним десятков прожил Кузьмич и рассуждает, как философ. Уважают его за это в деревне, идут к нему, как к Музгару Степанычу за ответом на разные житейские вопросы.

— Ну, понравилась, а потом разонравилась. Как говорил Белинский: «Не преступление любить несколько раз в жизни, и не заслуга любить только один раз.»

— Белинский Белинским, а ты глотаешь деликатесы жизни на пустой желудок, не попробовав куска самых простых житейских истин. Настоящий влюблённый, Миколка, никогда не разочаруется в увиденной красоте, потому что он сначала должен ею очароваться. Так что думай, — расфилософствовался Кузьмич, — Да и кто может знать, что легче: расстаться с красивым лицом и молодым телом или погубить свою душу тяжёлым разочарованием и цинизмом?

Денисов вновь затянулся самосадом, пустил сквозь прокуренных усов изрядную струю дыма и, словно давая рукам занятие, стал перебирать инструменты.

Николай сидел на ящике, молча смотрел на мудрого односельчанина, словно желая получить от него новую порцию нравственности.

Егор Кузьмич, как бы уловив желание собеседника, глянул на него.

— Я тебе хочу сказать, что живёшь ты шиворот-навыворот, стало быть, нарушаешь порядок вещей.

— Это в чём же?

— А в том, что ты сначала разврат испытал, а потом влюблённость испытываешь... А это самое гадкое, когда

знаешь, что на подлость идёшь. И какая она, эта подлость в размере, не столь важно, всё одно — гадко. А женщина, она ласку любит, не фальшивую, конечно, ибо душевная убогость обедняет отношения между мужчиной и женщиной. Береги душу смолоду от прорехи, к старости она дырой может стать.

А ты, я замечаю, в сторону Нюрки Муравьёвой неровно дышишь. Так чего же ради вы с ней постоянно скоритесь? Или на прочность друг друга испытываете?.. Только, однако, погоды!..

— Что ещё нового скажешь, дядя Егор?

Егор Кузьмич, дымя самокруткой, молчал, словно вспоминал о чём-то и, вдруг:

— Слыши-ка, Миколка, зайди ко мне вечерком. Я тебе одну штуковину дам. Внук со дня приезда прошлогоднего оставил. Книжечка небольшая. Называется «Юноша превращается в мужчину.»

Может, эта книжечка некого чешского доктора, фамилию запамятали, неожиданно поможет тебе взглянуть на себя с другой стороны, ты можешь стать богаче душой и возьмёшь в жёны Нюрку чистыми руками. Да смотри, Миколка, сдаётся мне, что эта не станет ждать, когда её солдат генералом станет.

— Спасибо, дядя Егор. А можно спросить?

— Ну, спроси.

— Дядя Егор... Вот вы с бабой Анной много лет вместе. Что, по-вашему, самое главное для женщины?

— Эх, Миколка, Миколка!.. — вздохнул Егор, — Тут за мужиков, за себя не можно определено сказать, а ты: «Что для женщины главное?»

— Ну, по-простому, по-мужицки, без всякой там философии...

Егор Кузьмич хмыкнул:

— Гм... По-мужицки, говоришь? Что для женщины главное? Сдаётся мне, да и в литературе масса примеров, что в России для женщин издревле главной честью было, чтоб был с нею рядом мужчина. Потому и нет зачастую у наших мужиков стимула довести себя до состояния настоящего мужчины... Ведь для этого надо трудиться, а им лень. Гораздо проще давить на совесть...

Но всё постепенно, по-русски, устаканивается, все привыкают и становятся довольными: если не смеются, то и не плачут...

А вообще-то, Миколка, загадочная душа у россиян!..

Шло время, а каждый сезон колхозной

деревни был похож на сезон прошлогодний. Крестьяне весной пахали, сеяли, летом косили травы. Осенью платили дань: отправляли хлебные обозы на заготовительные пункты. Развевались красные флаги и транспаранты. Девиз: «Хлеб государству!»

Пройдут праздники урожая, отгремят осенние свадьбы. На сцене избы-читальни при свете трёх керосиновых ламп-семилицеек поставят концерт местных само-деятельных артистов в день Великой Октябрьской социалистической революции, торжественно прокричат здравницу великой ленинской партии и отцу народов товарищу Сталину. Потом молодёжь потанцует под гармонь с балалайкой «кадриль», отплывшет с притопом другие пляски с озорными припевками и глубоко заполню разойдётся по домам, по дороге оглашая морозную окрестность звуками всё той же гармони.

К середине ноября, а то и раньше, выпадет снег и накроет своим белым покрывалом деревню. На занесённых сугробами улицах становится меньше движения. В запорошенных окнах изб рано загорается свет лучин и керосиновых ламп. В морозную погоду затихает деревня с вечера до утра.

Радио не было. На всю округу — один самодельный детекторный приёмник, изготовленный семиклассником Володькой Ерёминым. Деревенская молодёжь часто собиралась у него в доме по вечерам. Надев наушники, по очереди, минут по пять, слушали удивительный мир музыки и отрывки других разных передач. Из этих наушников, из газет и слухов доходивших до села, крестьяне узнавали о событиях в родной стране и за границей. Из разных источников стало известно о новых арестах учёных, писателей, поэтов, артистов и представителей духовенства. Закрыва-

лись, рушились церкви и монастыри. Во властных структурах военных тоже проходила чистка. Ищёйки Берия рыскали по огромной стране, выискивая, вынюхивая врагов Советской власти и заговорщиков против товарища Сталина.

Слухи о великой репрессии затмевали сообщения о великих стройках индустриализации страны. Поговаривали о возможной войне с Германией. Там, по сообщениям газет, к власти пришёл какой-то националист или фашист, капрал Адольф Гитлер. Сконцентрировав в мощный кулак весь военный потенциал, он по очереди захватывал страны Европы и, усилив свою армию за счёт завоёванных стран, говорили, создал угрозу нападения на Советский Союз. Но убаюканные победой на Дальнем Востоке, спокойным тоном газет, советский народ мало верил в это, ибо с фашистской Германией был заключён пакт о ненападении.

Сам Stalin знал о начале войны, но он верил больше Гитлеру, чем своим агентам разведки. Тем более, по словам историков, Stalin сам вынашивал единоличный план по захвату и коммунизации всей Европы, начиная с Германии и думал опередить Гитлера...

И в лучших умах советской интеллигенции, всё в тех же репрессированных учёных витала мысль о всё-таки возможной войне.

В декабре, в канун нового 1941 года после заседания правления колхоза, люди не торопились расходиться: на улице стояла страшная стужа. Увернув «молнию» – керосиновую лампу – десятилинейку, мужики курили у открытой дверцы подтопка. После подведения итогов за текущий хозяйственный год сам по себе зашёл разговор о текущей политике в стране.

Иван Васильевич, как никто, пожалуй, более-менее информирован о событиях в Союзе и за рубежом. У него был дополнительный источник – райком партии. На во-

прос, будет ли война, председатель, помедлив с ответом, проговорил:

– Не помню точно, кто из великих мужей мира сего, кажется, Наполеон, сказал: «Хочешь мира – готовься к войне.» Но если она будет, не дай бог, она будетвойной моторов,войной машин.

– А в газетах пишут, что маршалы Буденный и Ворошилов ратуют об увеличении и концентрации конных войск на западной границе, – сказал член правления, кузнец Музгар Степаныч, – Мало ли...

– Конница как лавина! Это хорошо! – вспомнил свои огненные годы Иван Васильевич. Но конница в настоящее время – пустое дело. Для современных войн потребуются машины, моторизованные войска, а не будёновская конница. Время её ушло, хотя маршалы-конники стараются убедить товарища Сталина в противном.

– Война машин и моторов может быть скоротечной, и если всё-таки нам придётся отражать нашествие врага, то надо встречать его на границе, не давая ему углубиться на территорию, иначе война может стать затяжной. Для отражения и уничтожения нынешнего врага потребуется бронированная быстроходная техника, а не лихая кавалерия.

Я не враг народа и не паникёр, но осмелюсь, используя высказывание маршала Тухачевского, сказать, что конница будет хороша только на параде на Красной площади. Без моторов, не дай бог, под натиском моторизованных войск противника, кавалерия, извините, может скакать в глубь страны аж до верховья Волги, а там недалеко и до Аляски...

Музгар Степаныч полуслучая резюмировал:

– Какая там война?! Вон, братья Костылёвы, как заложат за воротник, так и декламируют: «Броня крепка, и танки наши быстры!..» Особенно старший, Сашка: «Били мы и шведов, и французов, и турок... разных. Кулаки об-

молотим, оглоблю возьмём, бошки германцам расшибём.
Не впервой!»

Лёшка-Лохадёнка, брат Сашкин, вставил:

– Да что братья Костылёвы? Весь народ убеждён, что Красная Армия непобедима... Эх, чтоб так!.. А может поспорят да и...

Снова заговорил Музгар Степаныч:

– Ты прав, Алексей. Война – это спор в котором рождается истина. Это неприкасаемый факт.

Объект спора, как арена борьбы в истории человечества, борьбы двух непримиримых полюсов добра и зла.

В военном споре этих полюсов все аргументы собираются в одну главную мысль, общую идею собираются все наши разрозненные, неосмыслившие силы и познания, чтобы победить в том споре.

Русский народ извечно стоит на полюсе добра и всякий раз в больших кровавых сечах добывал победу над злом.

Хочется ещё отметить в этом споре зловещий парадокс: каждый, начинающий войну, думает всегда одинаково, охваченный безумством азартного игрока, – победа будет за мной. Тысячи войн во все времена начинались с этой, как доказала история, эфемерной веры...

Музгар Степаныч обвёл взглядом притихших членов правления.

– Гитлер, если это так, тоже верит в свою победу. Но он, видимо, не знает историю и уж тем более соглашательного наклонения – и поднявший меч непременно от этого же меча погибает.

Это должно случиться и с немецкой армадой. Я верю в свой великий народ, в великую Россию – она, если случится сеча, и в этот раз добудет победу...

Иван Васильевич обвёл взглядом притихших колхозников. На их лицах в табачном дыму приувёрнутом

фитиле лампы отражалось пламя горящих поленьев. Председателю на мгновение показалось: перед ним сидят не члены правления колхоза, а боевые друзья, конники его эскадрона в ночи у походного костра...

— У кого ещё есть мнения по поводу?.. — спросил Иван Васильевич, желая поставить точку в затянувшемся заседании, — Нет? Ну, ладно. Постановления писать не будем, а жить — с надеждой.

... *Не знал* председатель, что через каких-то полгода почти все члены правления сгорят в пламени войны, о которой только что говорили. В том огне сгорит и его единственный сын Дмитрий, так и не успев раскрыть талант художника. Пройдя войну от первого дня до последнего, он погибнет при освобождении Праги после официальной капитуляции Германии. На память о нём останутся этюды и зарисовки да... внук Дима.

Но это будет потом...

В те далёкие военные годы с одинако-

вым страхом люди ждали бомбёжку и стука почтальона.

После его прихода в осиротевших, словно онемевших от горя домах, поселялось вдовье да материнское одиночество.

Тяжёлое смертоносное дыхание войны ощущалось каждый день. О делах на фронте узнавали из газет и писем тех, кто ушёл на войну. У жителей села были то грустные, то напряжённые от злобы глаза. А то вдруг тихим вечером на всю улицу раздавался душераздирающий бабий плач. В нём не было обиды на почтальона, который два раза в неделю приезжал в село и часто привозил леденящие сердце вести. В нём не было крика о помощи. Это была боль безвозвратной утраты родного, близкого сердцу человека.

Но пока в округе была тишина. Тревожная, обманчивая тишина. Даже птицы не пели в тревожных ракитах.

Последнее письмо от Андрея пришло неделю назад. Пишет, что воюет там-то, а где – непонятно.

Деревню Радуницу, забытую богом в брянских лесах, прямое дыхание войны пока не касалось, хотя вокруг на сотни вёрст она накрыла всё своим смердящим крылом. Где-то прогудят басовито, словно шмели, самолёты и улетят невидимыми – не угадаешь: свои или чужие пролетели. Далеко к северо-западу, в лесах, слышалась канонада, да по ночам виднелось бледно-красное зарево.

«Пронеси, господи!..» – молились люди, продолжая жить и работать, но тревога не покидала их ни днём, ни ночью.

Но от войны, если она вспыхнула и всё испепеляющим огнём движется на тебя, никуда не спрячешься. Фашизм, как неведомое чудовище, явилось в переулок чужой жизни, вытоптало и сожгло всё, что могло гореть.

На дальнем увале, за рекой, зацветали травы. В воде вместе с рыбой плескалось солнце. В голубом небе иногда пролетали самолёты. Сидящая на бережке Алёнка думала, что это вовсе не самолёты, а какие-то большие ласточки. Алёнкина мама Галия на небо не смотрела: где-то там громыхала война, и «ласточки» эти в последнее время стали летать чаще. Галина косила траву корове на подкормку.

— Алёнка, беги ко мне скорее, я ещё землянику нашла! — услышала дочь голос матери.

Алёнка побежала, часто падая и крича:

— Я сейчас, мамочка!

Мать, отложив косу, ждала её, и почему-то у неё сжималось сердце. Она и сама не знала, почему так вдруг стало тревожно. Может быть, в Алёнке увидела себя и вспомнила своё детство. Цыганские повозки,очные костры, леса, поля и снова костры...

Дочка губами взяла из материнской ладони несколько красных ягод, и Галине показалось, что Алёнка поцеловала её руку. Мать обняла её, прижала к груди:

— Доченька, ягодка ты моя ненаглядная, живи...

Они ещё вместе поискали в траве красные, как капельки крови, ягоды земляники. Потом мать связала траву, накинула ношу на плечо, и, подхватив косу, они зашагали к дому.

— Мамочка, а завтра пойдём землянику собирать? — спросила на ходу Алёнку.

— Алёнушка, идём быстрее. Мишутка, поди, надоел дяде Никите, плачет, наверное. А по землянику сходите с бабушкой...

Тяжёлая ноша вскоре дала о себе знать. Галина, сбросив с плеча траву, присела на мшистый бугорок под берёзой. Вечерело. На том краю деревни вдруг родилась... песня. Такая не от счастья поётся. Такая ни от кого не пря-

чется, ни для кого не старается – грустная, скорбно-доверчивая, тихая песня: так течёт и течёт, как река, чья-то скорбь. И никто не пройдёт мимо, не прислушиваясь к этой песне, никто не осмелится вспугнуть её своим голосом посторонним. Гая уже слышала эту песню где-то там, далеко отсюда, на берегах лесной реки звучала она во время покоса. Слышала её и под звуки гитарных струн у горящихочных костров на поляне, окружённой лесом, под жёлто-белым светом луны.

Она вспомнила пруд, густой ольшаник по краю леса и тропку, потаённую тропку, вглубь уходящую к месту свидания с Андреем, и подумала: «Почты что-то нет.»

У Галины затуманилось в глазах. Она откинулась к стволу берёзы. Что-то ватное, мягкое окутало ей голову, перекрыло слух. Через минуту-другую вернулась в прежнее состояние, и её мысли снова посетил Андрей. Хотела было прощептать, а получилось вслух:

– Где ты сейчас?

– Я здесь, мамочка! – отозвалась Алёнка.

Голос дочки вывел её из раздумий. Она встала.

Второй месяц, на западе шла война.

Нерадостные вести приходили с фронта.

Однако на село пришёл август. Рожь на полях побурела, наклонилась к земле под тяжестью колосьев, туго начинённых спелым зерном. Настала пора жатвы. Нынешняя горячая пора стала ещё жарче: хлеб был нужен фронту.

Люди вставали до солнца, возвращались с полей, когда оно было уже за горизонтом. Ночи в августе хотя и длиннее июньских, когда не успевает вечерняя зорька потухнуть — утренняя уже загорается, всё равно усталые люди, наскоро поужинав, ложились спать: гудели одеревневшие за день спины, словно свинцом налитые руки и ноги.

Словом, время не для любви. Но... войнавойной, а для молодых людей утренние зори загорались в небе ещё раньше...

Едва стали сгущаться сумерки, Власов уже видел мост у старой кузницы, где они с Ниуркой стояли первый раз по весне.

Вот и сейчас они стояли вместе, но как бы ни был смел Николай, он никак не решался обнять девушки. Он не понимал, откуда к нему пришла эта нерешительность. Он ведь помнит, как прикоснулся к ней в первый раз там, в горящей избе...

В тот зимний вечер подводы колхоза возвращались лесной дорогой с Порзнянского льнозавода. Подъезжая к деревне Савино, заметили пожар: красные языки пламени лизали тёмное небо.

— Гони! — крикнул Власов Вальке-Маугли, и четвёрка подвод галопом влетела в деревню.

Николай первым выскочил из саней и кинулся к пылающему дому, который, казалось, вот-вот рухнет. Бес-

помощно стояли люди. В стороне в окружении соседей, металась женщина и дико кричала: «Нюра! Там Нюра!..»

Власов вбежал в дом, наполненный жаром и дымом. Нащупав и толкнув дверь из сеней в избу, у порога запнулся о что-то большое и мягкое. Наклонился...

Искры от соломенной крыши, поднятые вверх шумным огненным ветром, большими сгустками метались и падали под ноги. В верховом огне трещали стропили. И только тут заметили, как из горящей избы на крыльце с девушкой на руках вышел Власов.

Едва он подошёл к людям, чтобы передать её им, как следом за ним с крыши стали сползать слеги и через минуту рухнули на крыльце. Кто-то из мужиков, сняв с себя тулуп, расстелил его в санях:

– Николай, клади девку!.. Жива ли она?

К саням с криком «Нюра! Нюра!» кинулись мужчина с женщиной, подошли соседи...

Долго ещё говорили в Брусовах о смелом поступке Власова, а потом всё это стало забываться. Не вспоминал особо об этом и сам Николай и, быть может, забыли бы вовсе, если бы...

Пару лет назад в Брусове был куплен дом бывшего конюха Лагова, сгинувшего где-то в лагерях сталинского ГУЛАГа.

Вскоре Власов увидел двух женщин, идущих по деревне в сторону сельпо. Одна из них была молодая, и её длинные косы кого-то напоминали. Когда они поравнялись с Власовым, тот обомлел: это была спасённая им девушка. Хотя тогда на улице было темно, но в отсвете пожара он видел лицо девушки, которую вынес из горящей избы. Вспомнил имя: мать звала её Нюра.

Девушка оказалась трудолюбивой, недурна собой, длинные косы ей были к лицу. Сельские бабы приняли Муравьёвых в свою колхозную семью. Нюрка быстро

сдружилась с деревенской молодёжью, а с Варькой из соседней деревни Бахаевской стали подругами.

Власов долго присматривался к молодой переселенке, пробовал ухаживать, но бойкая Нюрка знала себе цену. Муравьёва не шла с ним, пока случайно не узнала от Варьки, что Николай был тем самым парнем, что вынес её из горящей избы. Вскоре она, хотя уже знала о его похождениях, переменила к Власову своё отношение, но из-за его отвратительного поведения часто ссорилась.

Но Николай изменялся на глазах. Нина Васильевна, привыкшая к распутной жизни сына, после смерти мужа не сразу заметила перемены в его характере. После того как его разыскали и откопали из-под снега на могиле отца, он перестал пить, стихли словесные перепалки с бригадиром — их заменили добродушные беседы с Егором Денисовым, — к нему, самому старому человеку в селе, он относился с неподдельным уважением...

— Эй, Миколка! — кричит с крылечка дядя Егор, — Подь сюды! Иди покури!

— А, дядя Егор! Здравствуйте!

— Будь и ты здрав! Куды это ты свои оглобли навострил?

— К Музгару Степанычу. Семён Ильич велел забрать из кузни пару сошников. Скоро зябь поднимать.

— Нету в кузне Музгарки. И дома нету, — затянувшись самосадом, невесело сказал дядя Егор, — С председателем к районному комиссару по утру на тарантасе укатили. Вот так Миколка... Им отказывают, а они вновь пишут заявления... Я их понимаю, что они оба с большим понятием никак не могут понять малого: они нужнее здесь!

Егор Кузьмич снова затянулся.

— Драться же с германом более молодые должны... Хотя как знать? В такой мировой потасовке все будут драться; и старые, и молодые...

— Вроде меня, дядя Егор! — горячо произнёс Николай, — У нас в колхозе ещё около сотни ребят осталось. Не берут пока. К зиме подрастём!

— Эх. Миколка! Война, это, брат, не то, что вы на задворках в красных-белых играли... Не торопись вперёд батьки! — после очередной затяжки, глядя на молодого здорового парня, произнёс дядя Егор, — Не все дни германские вороны склевали, кое-какие и на твою долю оставили, будь они неладны... Успеешь ещё совершить свою или исправить чью-то ошибку. Ведь каждая война, Миколка, это величайшая ошибка человечества, пуля в наших неродившихся детях. Ведь за каждые людские ошибки расплачиваются дети.

Егор рукавом рубахи вытер влажные глаза. Снова достал кисет.

Власов жадно ловил каждое движение губ Егора, каждое его слово.

— Страшную ошибку ныне совершил германец, или, как его там, Фюлер, а исправлять её, стало быть, приходится нам, россиянам, — скручивая цигарку, продолжал Егор. — И я верю: через лишения и жертвы русский народ исправит эту историческую ошибку. Мы убьём войну, и ты, Миколка, будешь одним из тех, кто сделает это!.. Пока время твоё здесь. Доделай то, чему сделал задел. Сам понимаешь: недолго вам с Нюрахой осталось топтаться на мосту. Вернёшься с фронта — долюбишь. Только надо быть добрым и порядочным, ведь добро, Миколка, и порядочность как родные сёстры. Делая людям что-то хорошее, не рассчитывай, что с этого будешь иметь.

И вдруг Денисов неожиданно спросил:

— Димка председателев пишет?

— Нет, — ответил Власов.

— Что так? Вроде бы друзья.

— Какие друзья, дядя Егор? Он, как к нам приехал, в Палехском училище на художника учился. Только в каникулы и виделись. Зато Варьке часто пишет. Она моей Нюрке говорила, что в боях пока не участвует, что, мол, Димка пока в какой-то учебке.

— Да, — подтвердил Егор, — она и нам с Аннушкой об этом сказывала.

— Вот бы с Димкой там встретиться! — с восторгом вставил Власов.

— Пути господни неисповедимы, — словно подавая надежду Николаю, сказал Егор, — Да и у войны многое дорого...

Бригадир Семён Ильич как-то, словно бы ненароком, обронил Нине Васильевне:

— Подменили что ли у тебя, Васильевна, сына-то? Не оговориться бы. Упаси бог.

Вот и сейчас Николай, наскоро поужинав, накинул на плечи пиджак, вышел на улицу. Мать ничего не спрашивала, сын тоже ничего не говорил. Но по разговорам односельчан, было ясно, что в их доме скоро должен появиться третий человек, и кто он, мать догадывалась.

Вечера стояли тёплые, сухие. Сколько раз за этот год приносили Николая ноги на этот старый мост над рекой, и каждый раз он с трепетом ждал встречи с Нюркой. Власов ещё ни разу так не любил. Бывало, увлекался девушками, иные нравились ему. Но это, наверное, нельзя было назвать и любовью. До неё ни одной девушки не было, как казалось Николаю, способной понять его и принять таким, каким он есть. Если его мысли им были недоступны, значит, сам он выше их, значит, он, если у них с Нюркой что-то получится, будет её должником. Нюрка была не такой, за какую принял, было, сначала её Власов. Он сразу почувствовал сильный локоть товарища. Как это было

важно для него: не остаться одиноким в часы глубоких раздумий!

Хотя в Брусовах некоторые и недолюбливали Владислава как личность, но как человека, готового прийти на помощь другому, уважали. Неслучайно, что люди села не оставили его один на один с горем. Они пришли ему на помощь, и Нюрка была одной из первых, оказавшихся в тот прошлогодний зимний вечер на погосте...

С низин усадеб потянуло прохладой, и кусты ольшаника будто вздохнули от её прикосновения. Через речку был перекинут дрожащий лунный мостик. Стоя под луной, деревья роняли на землю причудливые, какие-то таинственные тени. Роза, упавшая с неба, невидимыми глазу каплями окропила бархатную зелень молодой отавы желтовой пылью.

Нюрке казалось, что она никогда в жизни не видела такого ливня лунного света, как в эту ночь.

Они долго молча стояли рядом. В окнах домов угасали редкие тусклые огни, а луна щедро поливала светом мирно спящую в распадке деревню.

Николай осторожно обнял Нюрку, прижал к себе. Острое, жадное желание признаться ей в любви сменилось в нём нежностью, убаюкивающей лаской. А она, стояла, глядя прямо перед собой, устремив взгляд в широкую ночную даль, освещённую луной. Нюрке казалось, что Николай хочет ей сказать что-то очень важное. И через минуту услышала:

— Нюра, я люблю тебя... Если ты согласишься стать...

Его вкрадчивый голос взволновал её, по телу пробежала какая-то приятная дрожь. Слегка наклонив голову, Нюрка повернулась к Николаю, взглянула в глаза. В душу его хлынул поток надежды. Сердце его колотилось. Он ждал, а Нюрка продолжала молчать и смотреть на Николая.

лая. Вдруг, шумно выдохнув, словно сбросила с себя какой-то невидимый груз, уткнулась ему в грудь. Власов, поддерживая девушки, смотрел на бледные звёзды, которые, казалось, стали ярче и ближе и вместе с ним радуются тому большому событию, которое должно сейчас войти в его жизнь.

Нюрка откинула голову:

— Как странно, Коля... Ведь я всегда тебя просто уважала. И вчера, и сегодня, а сейчас... Уступаю тебе.

Николай крепко обнял Нюрку, и их губы слились в глубоком упоительном поцелуе.

Домой Нюрка шла одна. Шла берегом реки медленной, нерешительной походкой, словно уставший за день человек шёл и обдумывал дневные дела.

С листьев прибрежного ольшаника, задетого ею, падала роса, окропляя ей голову, косы и плечи. С каждым шагом к дому она погружалась в какую-то печально-сладкую дрёму.

В эту ночь, лёжа в постели, она боролась, как с наложением, с образом Николая. Ей не спалось. Она чувствовала, что попала в сети его любви, которые уже не разорвать. Николай покорил её своим отношением к ней, и она говорила себе: «И совсем он не такой, каким кажется. Эти его увёртки, ужимки — всё наносное, чужое. Он хороший, сильный, просто его не понимают — он и ведёт себя развязно. Вся моя жизнь теперь будет связана с Николаем.»

Нюрка повернулась на спину, уставившись в потолок. Мысли набегали одна за другой, и все о нём... Она согласилась стать его женой.

Из-за набежавшей тучки снова вышла луна, как ярко-белая раскалённая сковородка. Она заглянула в окно, вновь наполнив комнату таинственным светом. На стене от

стоявшей за окном сирени заметались какие-то странные тени.

Нюрка закрыла глаза, стараясь больше не думать о Николае, но сон так и не приходил. Она без конца ворочалась в постели. Одеяло сбилось к ногам, и вся она, открытая, лежала под луной. Вокруг её головы венцом лежала коса. Другая легла на шею и плечи. Прядь волос сползла к длинным ресницам, чуть загородив её широко открытые глаза. Лунный свет освещал её сорочку, рельефно обрисовывавшую всё её тело: ноги, открытую, вздывающуюся полную девичью грудь. Но вот Нюрка, точно сквозь сон, пошевелила рукой, нашупала край одеяла и потянула его на себя, словно стыдясь своей красоты, на которую с неба засмотрелась луна, и повернулась на бок.

На соседней кровати зашевелилась мать.

— Ты не спишь? — тихо спросила она.

Нюрка не ответила. В коридоре кашлянул отец, затем раздались его шаркающие шаги и приглушенный звон ковша о ведро: он пил воду.

— Спи, — тихо проговорила Ольга Яковлевна. — Что ты всё ворочаешься?

— Мама, — тихо позвала Нюрка.

Мать приподнялась:

— Что тебе, дочка?

Нюрка, сбросив с себя одеяло, подошла к матери, обняла её.

— Нюра, что случилось? — спокойно спросила Ольга Яковлевна.

— Мама! — Нюрка заплакала, — Мама!

— Что с тобой? — уже с ноткой тревоги переспросила мать.

Нюрка уткнулась в колени матери и ничего не ответила, но уже и не плакала. Мать приподняла голову дочери, взглянула в глаза: из их глубин лился поток лучезарно-

го света; и как показалось матери, только для неё одной с губ дочери были готовы сорваться вопросы.

– Мама... Ты папу любила?

Ольга Яковлевна не ожидала такого.

– Что за вопрос, дочка?

– Просто так.

– На пустом месте, Нюраша, ничего не бывает. Ты что-то от меня скрываешь.

Нюрка снова обняла мать.

– А его ещё кто-нибудь любил кроме тебя?

Мать, не желая сразу узнать от дочери причину этих вопросов, ответила:

– Может быть... Только я уж точно, иначе разве бы аист нам тебя принёс?

Ольга Яковлевна улыбнулась:

– А вообще-то, дочка, такого мужика, как твой отец, полюбить могли многие... Но выбрала его я, а он меня.

– Логично, – согласилась Нюрка.

– Логично только на первый взгляд, Нюраша, потому что мы не можем заранее увидеть «в лицо» свои ошибки. Увы, нам с выше не дана способность «делать всё правильно.»

– Бывает... – задумчиво сказала Нюрка.

– Да, дочка, бывает, и кобыла хромает, если ногу сломает... Ну, говори, то у тебя?

– Мне это просто интересно знать. Мама... Мне сделал предложение...

– Ой? – тихо спросила мать.

– Да.

– А ты? Что ты ему ответила?

Мать снова поднялась, взгляды их встретились.

– Если ты отдаёшь дань за спасение, то это будет напрасной жертвой. Не следует, Нюраша, путать благодарность с чувством любви.

Дочь смотрела на мать, и в лунном свете её бледные губы шептали:

– Мама, он не такой! Уже не такой, каким был. Не такой, и это не жертва... У него есть своё хорошее «Я», он не такой.

– И красивый...

Нюрка прижалась к матери.

– Мама!

– Ладно, ладно. Смотри сама. Да и с отцом надо поговорить, это дело наше общее... Война ведь идёт. Николай зимой не просто в армию уходит... Ох, дочка...

– Я буду ждать. Не все же на войне погибают, – оптимистично произнесла Нюрка, – да к зиме, я думаю, и мужики говорят, что война должна закончиться.

– Оптимистка ты моя родненькая. Дай-то бог!.. Только, дочка, Музгар Степаныч намедни у сельпо сказывал, что у германцев большая сила. Они, говорил кузнец, всю Европу ведут за собой против нашей страны. Плохие вести с фронта рассказывают и те, кто слушает у Ерёминых радио... Плохие. Однако Музгар Степаныч тоже верит в нашу победу. Только от его оптимизма, дочка, веет жестокой правдой войны.

Жель лохматой росомахой незаметно уползла из деревни, и утро, потеснив сумеречность, занялось зарей багрового рассвета.

Поджидая основные силы,

батальоны старшего лейтенанта Зайцева расположились в версте от занятой немцами высоты. Для предстоящего прохода истребительного полка, в состав которого входил батальон Зайцева, высота эта была преградой. У немцев, по разведданным, там было хорошее укрепление. И препрятствуя эту, под названием «Заячья гора», было приказано взять.

Почему эта высота, расположенная среди болот, получила такое название, сказать трудно. В те суровые весенние военные дни сорок второго бойцам было не до того, чтобы заниматься лингвистикой. Ну, конечно, уж не по фамилии комбата, которому было приказано взять эту высоту. Но именно так называлась эта возвышенность в боевых донесениях.

Ночью, выставив дозор, бойцы расположились в старых полуразрушенных окопах и землянках. При свете фитиля из стреляной гильзы они курили, писали письма. вспоминали дом. Где-то к полуночи в землянку вошёл комиссар батальона с какой-то холодной, сибирской фамилией Зима. Родом из города Кемерово, полгода тому назад работал мастером-наладчиком на Кемеровском электромеханическом заводе.

Фамилия эта соответствовала холодной и умной голове её носителя, как и месту довоенного проживания. Однако этого не скажешь о душе и сердце комиссара. За уравновешенным характером его внутри таится огонь русского патриотизма, любовь к Родине и уважение к бойцам.

Зашёл разговор о предстоящем штурме укрепления фашистов, о роли коммунистов в экстремальных житейских ситуациях.

Старшина Авдеев, вспомнив разговор с председателем колхоза Иваном Васильевичем о коммунистах без партбилета, осторожно обратился к Зиме:

— Товарищ военный комиссар! Я не буду спрашивать вас словами крестьянина из кинофильма — за кого он, Чапаев, сражается — тут мы, как говорится, сами с усами...

Бойцы оживились. Язычок фитиля-коптилки высветил их глаза, устремлённые на старшину.

— ...Но всё же. Есть ли разница между коммунистами и... членами партии? И если она есть, то в чём?

Комиссар Зима взглянул на бойцов, особенно на старшину.

— Среди нас есть коммунисты? — спросил и тут же сам ответил, — Есть. Вижу.

Помолчав немного, проговорил:

— Сказать «да» — погрешу истиной; сказать «нет» — то же самое. Судите сами. Но коммунистом становятся по убеждению, с верой в дело великой партии Ленина, в светлое завтра коммунистического общества и коммунисты — авангард его строительства.

Есть ли среди нас коммунисты без партбилетов? Это люди высокого интеллекта, умные, талантливые организаторы. Они не бьют себя в грудь: я такой-то!

Зима снова обвёл взглядом бойцов.

— Но в партию, — снова заговорил он, — записываются, заметьте: записываются, а не вступают по убеждению для служения Родине! А записываются люди с эгоистической душой. «Запишусь — вдруг должность дадут?» Такие люди беспринципны, их идеология — прислониться к чему-то надёжному. В них живёт, пробудившись, какой-то потребитель. Такие люди не могут стать настоящими коммунистами-ленинцами.

— Да! — многозначительно произнёс уже бывавший в боях пожилой боец Василий Муромцев. — Солдат в бой

вести – не портками трясти: тут одного «хочу» мало. Звоночек какой-то нужен. Одним словом, талант!

– Верно! – подтвердил комиссар, – Руководить даже малой группой людей, поднимая их на большие дела, нужны недюжинные организаторские способности и личный пример.

– Вот вы, старшина, – обратился комиссар к Авдееву, – в вас просматривается, живёт, даже можно сказать, звенит организаторская способность-струна: вокруг вас всегда, вижу, толчутся бойцы. И я думаю, не только потому, что вы их кормите кашей...

Чуть-чуть забрезжил рассвет. Проваливаясь в густое снежное месиво по колено, бойцы батальона скрытно подходили к высоте. Разведки немцев не встретили. Наверное, убеждены в неприступности высоты.

Вчерашние предпринятые батальоном атаки не имели успеха. Командир батальона старший лейтенант Зайцев и комиссар Зима не раз поднимали бойцов в атаку. Безуспешно. Немцы, пользуясь покровом ночи, склоны Заячьей горы обливали водой. Сплошной лёд! Десять бойцов уже полегло у её злополучного подножия. И здесь, в этом болотистом, иссечённом снарядами лесу, останется ещё один не обозначенный ни на каких картах холм – братская могила.

И вот... Снова рассвет в молочной дымке утреннего леса. Зайцев вновь, посмотрев на часы, отдаёт приказ штурмовать высоту. Комиссар Зима молча оглядывал бойцов. Было видно: они роптали, предчувствуя бессмысленность атаки. И тут вперёд вышел старшина Авдеев и – командиру:

– Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? – и прямо, – Надо подумать, как взять её, прокля-

тую. Не в лоб же снова лезть, как чёрту на рога! Все поляжем – к большаку путь не откроем. Надо искать...

– Молчать, старшина! – остановил его Зайцев, – Товарищ Сталин приказывает...

– Товарищ Сталин далеко. В Москве он, а мы тут на фронте. И вам, как командиру, виднее, чем товарищу Сталину, какова военная обстановка на месте, – парировал старшина.

Бойцы обступили их.

– Значит, вы, старшина Авдеев, сомневаетесь в правоте товарища Сталина и его приказа? – на высоких тонах спросил комбат, посматривая на комиссара, ища у него поддержки. Но комиссар Зима пока молчал, слушая неуставной разговор старшины и комбата. Мысленно он был на стороне Авдеева и с любопытством смотрел на него, приподняв шапку над глазами.

«Не худо, – хвалил он его взглядом, – Не худо, говоришь. Не хуже нас, комиссаров, а ведь ты, старшина, кажись, не в партии... ещё.»

– Я в правоте приказа товарища Сталина не усомнился ни на минуту, – Авдеев обвёл взглядом бойцов. Встретившись со взглядом Зимы, старшине показалось, что тот одобрительно слегка кивнул головой, – А вот в вашей, извините, товарищ старший лейтенант...

– Да ты!.. Да я тебя!.. – вскипел комбат Зайцев и выхватил револьвер, – В атаку, старшина!.. Или я тебя, как паникёра!..

Зайцев выстрелил не успел: кто-то из бойцов вышиб из руки комбата оружие. Бойцы сгрудились – комбат и комиссар оказались в кольце.

Не нарушая уставных отношений, Авдеев обратился к комиссару Зиме. Бойцы расступились. Комиссар вышел к Авдееву.

– Я вас слушаю. Обращайтесь.

— Товарищ батальонный комиссар! Вы же видели вчера: с ходу в лоб не взять эту треклятую глыбу, а взять надо!.. Дайте мне трёх добровольцев. Мы в обход. С тыла.

— Но ведь кругом болото... Топь...

— А мы, товарищ батальонный комиссар, Мухой! Муха не гудит!..

Трое бойцов сами подошли к комиссару.

— Мы пойдём со старшиной. Авдееву мы верим, как себе, а вы верьте нам.

— Добро! — сказал Зима, — С богом!..

Час неизвестности казался вечностью... Растворившись в туманном лесу, Авдеев с бойцами обошли гору с фланга. Бесшумно сняв ближайший караул, незамеченными подошли к огневой точке немцев. Те, видимо, не ожидали удара с тыла: кругом незамерзающее зимой болото.

Шестеро фашистов, днём поливающие атакующих русских пулемётным огнём, а ночью — гору водой, не очень обременяли себя ночным усиленным дозором. Отложив в сторону автоматы, они завтракали, тихо разговаривая меж собой.

«Ишь, педанты!.. Мать вашу... Война войной, а обед по расписанию», — глотая слону, про себя подумал Авдеев.

Старшина приказал двум бойцам подойти к немцам как можно ближе, на расстояние двух-трёх прыжков, а он с бойцом — с другой стороны. Сигнал к броску — громкий свист. Будет возможность — не стрелять. Даст бог, поможет тишина и внезапность. Всё. Пошли...

Ухарский свист застал фашистов врасплох. В нескольких метрах от них из-за выступов грязных сугробов враз выросли четыре фигуры красных бойцов. Немцам было не до автоматов: от неожиданности они лишь перестали жевать. В руках застыли их ложки...

Через пять минут в рассвете утра на вершине горы появилось четверо бойцов. Они стояли, подняв руки с трофеинными автоматами. Внизу понеслось «Ура!..» Надо было торопиться: есть риск нарваться на смену наряда. И вот связанные фашисты скользят по склону вниз, к ногам наших бойцов. Вслед за ними – трофеинное оружие и коробка с банками консервов. Последними на распущенных полах шинелей – сами герои.

…Успели. Через три часа батальон влился в состав наступающего стрелкового полка и двинулся дальше по дорогам войны.

…За проявленные смелость и находчивость четвёрка бойцов были награждены медалями, а сам Авдеев повышен в звании и должности. Новоиспечённый старший лейтенант Авдеев принял батальон.

Зайцев был вызван в штаб и больше не вернулся.

Тогда, во время вручения наград, комиссар Зима обратился к бойцам:

– Война, дорогие мои бойцы, это проявитель, сортировочное сито, сквозь которое просеиваются честь, совесть и сила воли людей. Вы прошли сквозь это сито. Благодарю вас.

Воскресенье. 22 июня 1941 года.

В этот день, как и в прошлую субботу, в лугах на Цыганском долу звенели косы. Травы были высокими, плотными. На лесных полянах и опушках спела земляника, и мужики время от времени наклонялись к ней, не думая, что у ног их под косами красные спелые ягоды смахивают на капли людской крови.

...На западе уже несколько часов грохотала война. В полдень на покос прибежал Володька Ерёмин. Он в наушниках услыхал это страшное слово и на бегу по скошенным валкам кричал:

— Война! Война!..

Придя к нам и взорвав внутреннее пространство Советской Родины, она нарушила её трудовой созидательный ритм. Страна, сосредоточивая силы для отпора врага, встала на военные рельсы.

В первые месяцы моторизованные передовые части Германского Вермахта теснили войска Красной Армии, и успехам гитлеровцев аплодировала вся Европа. Остальной мир, затаив дыхание, обращал свой взор на Москву и ждал развязки.

Повсюду по стране ужесточилась дисциплина: ни праздников, ни выходных.

Фашистские полчища подошли к столице. Витала прямая опасность её захвата, и критической точкой отступления Красной Армии стала деревня Крюково в каких-то 30-ти километров от Москвы. Хваленая, непобедимая гитлеровская армия забуксовала.

Но зловещее дыхание войны дошло и сюда, в родной Брусовский край. Ещё в самом начале ее немецкая дальняя авиация, предприняв смелый рейд в наш глубокий тыл, совершила налет на город Горький, что в сорока пяти километрах от Брусовского колхоза имени Кирова. В результа-

те бомбардировки был разрушен важный стратегический объект – большая часть северных корпусов Горьковского автомобильного завода. Несколько бомб угодило в здания военного госпиталя в районе Канавино, уже готовых к приему раненых бойцов...

Председатель колхоза Иван Васильевич Варёнов рвался на фронт. Несколько раз писал заявления в военный комиссариат района. Ему отвечали: «Ты должен быть здесь. Фронту нужен хлеб!»

У дома радиолюбителя Володьки Еремина постоянно толпились колхозники. Его детекторный приемник, не считая газет и солдатских писем, был единственной живой нитью, связывающей деревню с фронтом. Володька жадно вслушивался в слова Юрия Левитана и осторожно передавал односельчанам неутешительные фронтовые сводки.

В правительстве было принято постановление об эшелонированных укреплениях в глубоком восточном тылу.

В Ивановской области, за 450 километров от столицы, от посёлка Мыт, стоящего на берегах полноводного притока Оки – реке Добрице, через село Кромы и райцентры Верхне-Ландех и Пестяки к берегам Оки стали возводить противотанковый ров. Протяженностью более десяти километров, он после завершения строительства должен быть соединен с Добрицей.

Потом, как говорили негласно, стало известно, что это было вредительством, равным предательству: ров, как оказалось, копали в то же время около г. Коломны с юго-запада столицы. Потом многие обыватели сомневались, как военные стратеги могли перепутать географические координаты двух населенных пунктов (с. Кромы и г. Коломны), находившихся в разных концах подмосковья на сотни километров друг от друга. Ну, это было потом...

Десятки сотен людей с окрестных сёл и деревень двух районов были согнаны на небывалую в этих местах стройку. Приехали военные инженеры, десятки НКВДшников. Все от мала до велика, кто мог держать в руках пилу и топор, лопату и тачку с носилками, дни и ночи, в дождь и жару, были заняты на тяжёлой, изнурительной работе. Норма на копке рва, 12 m^3 в день, не всем была под силу. Люди в фуражках, окаймлённых красным кантом, не давали спуску. За лесорубами шли землекопы. Ели, пили и спали на местах: в поле, в лесу, на лужайках близлежащих деревень. Полуголодные люди, измотанные тяжёлым трудом валились с ног. Некоторые уже не вставали... У многих, в том числе детей, из носа текла кровь... Отлёживались тут же, вставали – и снова лопаты, тачки...



А в колхозных лугах на корню сохли травы, не тронутые косами, на полях ждали созревшие хлеба, на полях спелой ржи ходит и ходит ветер. Волнуется рожь, тихо шурша колосьями и роняя, будто слёзы, переспелые зёрна, на фермах – орущий голодный скот.

Война и в тылу требовала жертв. Всё вынесли люди от бога – сельские труженики!

Ценой лишений, здоровья и жизни людей в первых числах сентября 1941 г. воды реки Добрицы, хлынув в ров, превратили его в полноводную широкую преграду...

Детская память... Почему она выхватывает из потаённых уголков души своей совсем не детские эпизоды?

Почему они запечатлелись в сердце, как кадры на фотопленке, где они отражены всё с точностью до наоборот?

Почему они идут рядом с тобой всю твою сознательную жизнь?

Детство. А было ли оно?

Позднее, став взрослым и уже пожилым человеком, автор этой повести, как свидетель этих давних и не совсем давних событий, в своей поэме «**В гостях у детства**», в одной из глав ее, при разговоре с дочерью Наташой скажет:

...Петух горланил. Хлопот крыльев
Нам обещал, что новый день
Идёт народу изобилием
И мирным днём для деревень.
Светало. Иволги свистали.
Лес выступал из темноты.

Я с братом спал на сеновале,
Не зная ранней суеты.
Не знали мы, да все не знали,
Нам не приснилось и во сне,
Что мирной ночью засыпали
И что проснулись на войне.
... Тот ров-канаву мы копали –
Мальчишки с бабушкой твоей,
А для чего – мы знали сами,
Гордясь осведомлённостью своей...
Лопаты, тачки и носилки
В глазах ходили ходуном,
И люди, падая в бессилье,
Пластились тут же, перед рвом.
У очагов, почти потухших,
Голодным сиживать пришлось,
Но мы копали, и в опухших
Глазах таились боль и злость.
И... Ждали папу, писем с фронта,
Что приносил нам почтальон.
Отдаст. Стоит... Какого чёрта
От дома не уходит он?!

Лишь отойдёт чуть-чуть в сторонку,
Раскрыв почтовую суму,
А в ней – на папу похоронка
Вслед треугольному письму...

Редкую семью не коснулась война. Из деревень и сел Кромского сельского Совета за годы войны на фронт ушло 485 человек – вернулось 106.

Один из них – Николай Степанович Варёнов, майор запаса, отважный танкист. До весны 39г. работал плотником в бригаде Александра Костылева, но, когда в район пришла первая партия колёсных тракторов – ЧТЗ, Николай

загорелся. Он окончил курсы трактористов в районной МТС и принял выделенный колхозу трактор.

Дороги Великой Отечественной прошёл с 953-м самоходным танковым полком в составе 5-й Краснознаменной дивизии 2-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию, Литву и Восточную Пруссию. Дошел до Берлина. Горел в танке на Одере. На груди фронтовика восемь медалей и орденов!

Так и хочется верить, что Алексей Толстой в рассказе «Русский характер» писал портрет-историю танкиста Егора Дрёмова с Николая: так схожи их военные судьбы.

— Что бы там ни говорили, но я верю, что оберегала меня Аннушкина любовь, её верность, — говорил Николай Степанович. — А верность, по моему мнению, это когда от знакомства и последующих отношений с человеком не возникает чувства стыда, когда у тебя за спиной надежный тыл.

Его жена Аннушка, двое детей: Людмила и сын Славка — и были его надежным тылом.

Николай привел Анну в дом из соседнего Лухского района, деревни Никольской. Когда она появилась в деревне, односельчане были поражены ее строгой славянской красотой,стройной фигурой, манерой держаться. Ну, истинная русская аристократка! Она не выла, не причитала, получая на мужа одну за другой две похоронки. Лишь сходила к Музгару Степанычу и раз погадала у цыган. И там, и тут получала положительный ответ: «Жив!» Обнадёживающий ответ согревал её душу, хотя она и так не верила в его смерть.

— Жизнь длинна, всё равно дождусь! — говорила Анна.

И, стоя у окопицы, она вдруг молча, побежала вдоль деревни к мужу навстречу. Когда же оказалась в его объятьях, она впервые за всю войну ослабла и зарыдала.

Не вернулся с фронта Афанасий Пушкин – балагур, душа компании, весельчак, отчаянный, но не злобный матершинник. Сочинял частушки и пел их под свою красномехую шуйскую хромку. Ни одна свадьба не проходила без Афоньки, ни одного значимого случая не пропускал он. На любое происшествие в деревне откликался метким ядерным куплетом:

Тенятов, как паутина,
Спал у Зинки на печи...
Пришла жёнка Валентина –
Полетели кирпичи.
О неряшливой колхознице:
У Турыгиной Варвары
Всё по новой моде:
Ложки, плошки на дворе –
Курицы в комоде...

Уходя на войну, Афанасий взял с собой свою красномехую гармонь. Провожали в этот раз троих: Лёшку-Лохадёнку, Николая Сазина и его, Афанасия.

Проводы проходили с песнями, плясками, надеялись, что скоро, к зиме вернуться:

Придёт осень – подморозит,
Зима снегу наметёт,
И солдатская машина
Нас с победой привезёт!

Прощаясь с родными, наказывал уже женатому, но еще не мобилизованному сыну Сергею:

– Серёга, пока не ушёл за мной, ха-ха-ха, сделай своей Валентинке сына, и, когда он родится, назовите его

Александром. Пусть в деревне нашей будет свой Александр Сергеевич! Вдруг стихи писать будет!..

Сын выполнил наказ отца: теперь в Брусове живёт тёзка великого русского поэта.

Пока он рос, дед его воевал, и в часы затишья между боями солдаты слушали своего любимца, Афоню:

...Гитлер с Геббельсом пошли
На Россию – матушку.
Подожди, усатый фюрер,
В галифе накакаешь!
Гитлер, рот не разевай,
Скаля зубы прусские.
В пузо пулю принимай,
Вместо хлеба русского!

Однополчане смеялись. Афонька шёл по кругу:

Наш верховный мудрый Сталин
В зад фашистам всунул клин.
Этот клин Кузнецкой стали
Прет через Эльбу на Берлин.
Скоро Гитлеру капут:
Бьём фашистов там и тут,
Прицел держим на Берлин,
«Завтра Жуков скажет: «Пли!»

Прошёл вприсядку:

Скоро фюрера добьём,
По домам разъедемся.
Скажем:
«Здравствуй, дорогая!
Скоро ли позже...»

Солдаты притихли. Прекратился смех. Их весёлый боевой товарищ, не сжав меха, вместе с гармонью упал на землю. Его красномехая, послав басовый выдох, словно прощаюсь с хозяином, умолкла.

Секунду назад, свистнув, откуда-то прилетела шальная пуля... «Косая» всегда рядом ходит.

Не суждено было Афанасию увидеть своего внука.

Через неделю после свадьбы ушел на войну Николай Власов, оставив молодую жену Нюрку Муравьеву. Похоронка на него пришла в 42-ом из-под Сталинграда.

Весной 44-го из Канавинского госпиталя искалеченный прибыл отец Володьки-радиолюбителя Василий Николаевич Ерёмин. Привезли военные люди. На руках внесли в избу. Поздоровались. Отдали документы. Извинились. Уехали. Солдат не мог стоять даже на костылях, его тряслася малярия. Дети носили его в жаркую баню, поили и натирали муравьиным спиртом...

Через полгода Василия не стало.

До сих пор поражает воображение судьба семьи Разживиных.

У Анны погибли на войне три сына. Муж Михаил не доехал домой с Победой каких-то... восемь вёрст. По дороге из райцентра у деревни Зарубино он погиб под колёсами полуторки. Застрявшую в гати машину толкали руками. Михаил, расстегнув шинель, помогал по борту. Пола его шинели угодила под задние колеса грузовика...

Анна, увидев у крыльца на разостланной шинели тепло мужа, на глазах у соседей поседела и упала в обморок.

Её подняли с земли. От ударов судьбы женщина словно окаменела...

Сложив на груди руки, подняла к небу глаза. Губы её что-то шептали. С берёз поднялись грачи. Словно их испугал ее душевный крик.

Однако горе, словно испытывая Анну, не покидало её. В 49-ом, работая в составе научной экспедиции, на Байкале утонула её дочь Мария.

Вскоре сын Николай, учитель географии местной школы, при заправке мотоцикла через шланг, подсасывая бензин, проглотил его, в результате отравления проболел около месяца и скончался. У Анны осталась дочь Валентина, впоследствии счетовод-бухгалтер колхоза.

...Да. Какие только муки, какие испытания не выпадали на долю русских женщин! В какие только крендили не сворачивала их судьбинушка! Какие только погибели не прижимали их к земле? И откуда только берет силы загадочная русская женская душа? Из какого Кладезя черпает их она? Нет, не понять до конца душу русской женщины. Нет, не понять... Нам этого не дано.

...Она выпрямляется, встает, и, приложив к глазам натруженную ладошку, смотрит на дорогу к горизонту, словно ожидая чего-то светлого, что могло бы хоть чуточку ослабить душевную боль. А потом снова, взяв серп, можно идти в поле убирать жито, рожать детей, нередко прямо в поле, растить их для Родины. Для себя не всегда получалось.

На том краю «Радуницы» жила тётка

Андрея Варёнова Васёна, и Галя частенько отпускала свою старшеньку к ней в гости. Тётка любила племянницу. Вот и сегодня, Алёнка убежала к Васёне: та обещала ей сходить за увал по землянику.

Галина была в огороде, окучивала картошку, когда в небе над селом вновь загудел самолёт. Летел он низко, словно не самолёт вовсе, а какая-то чёрная рама. Пролетел и скрылся.

— Господи! Неужели и сюда добрались, проклятые немцы?

Выйдя из огорода, она тревожно посмотрела на улицу — не идёт ли Алёнка. Её не было видно, зато все жители, потревоженные самолетом, вышли из домов. Приложив руки к глазам, смотрели в ту сторону, куда улетел самолёт-рама. Сосед Никита. Страхов, пожилой мужчина, тоже вышел на улицу.

— Это разведчик. Жди «гостей», — пояснил он Галине.

И действительно, через какие-то два-три часа после появления самолёта от леса со стороны большака послышался поначалу глухой, потом всё нарастающий гул. Вскоре в селе сначала на мотоциклах, а затем на машинах и танках появились фашисты. Не встретив никакого сопротивления, немцы вскоре чувствовали себя как дома. Пройдя село, грузовики и танки спустились к реке. Солдаты раздевались, прыгали в воду, плескались. В самом селе, окружив колодец, дружно гоготали, заполнив Радуницу чужой, незнакомой речью. И если бы эта речь и непривычная форма на солдатах, то можно было подумать, что это часть Красной Армии, следя на ученья, остановилась на привал.

Галина, беспокойно думая об Алёнке, вбежала в избу: младший, только что начавший делать первые шаги Мишутка, спал в кроватке.

«Конечно, — думала она, — тётка Васёна не отпустит её одну, они придут. Надо поставить самовар».

Галина взяла ведро, вышла во двор, направилась к калитке, но... не суждено было набрать ей воды из колодца: навстречу шли двое немцев: офицер и солдат. Они загородили ей дорогу к колодцу, указали на избу. Вошли как к себе в дом. Оглядели чистую горницу, прошли к столу под вышитой скатертью, опустились на лавку. Хозяйка, опасливо поглядывая на «гостей», прошла за перегородку к печи. Взяла в руки острый тяжёлый косарь, достала из загнётка сухое берёзовое полено, принялась щепать лучину. Немцы, увидев, что в хате нет никого из взрослых мужчин, смотрели на хозяйку, как она ловко орудует с поленом. Потом офицер произнес:

— Матка, ужин!

«Еще чего?» — хотела было сказать Галина, но услышав хотя и плохую, но русскую речь, испуганно оглянулась. Увидев на столе хлеб, консервы и конфеты, растерялась.

— Ужин, матка! — снова пригласил офицер, указывая на стол.

Солдат достал из планшета бутылку белого вина.

Галина удивилась: немец, а говорит по-русски. Она стояла в проёме перегородки с косарём в руке, не зная, что предпринять.

— Брось это...э-э... Садись! — настаивал офицер. — Он встал. Подошёл к хозяйке, обняв её за талию, подтолкнул легонько к столу. Во дворе замычала Зорька. Заслышиав этот звук, немец сказал:

— Фройлен, млеко!

Галина, не выпуская из рук косарь, прошла на кухню, принесла крынку молока, поставила на стол.

— На, лопай! — сказала она и, вздрогнув, испугалась себя: она забыла, что немец понимает русский язык.

— Что значит э-э... лёпай? — вполне сносно спросил офицер.

Галина более мягко ответила:

— Ну, по-вашему, это значит пей, ешь...

— Ой, какой хороший фройлен и так ругаться — некоропшо! — улыбнулся он, поднимая чашку молока.

— Мало что ли? — спросила Галина. — А то вон, в сенцах...

— Что такое э-э... сенцы? — нахально улыбаясь, снова спросил он.

Захмелевший офицер глазами буквально пожирал красивую женщину.

— Коридор, значит, — Галина показала на дверь.

Тот встал, подошел к ней. Взял за руку, впился в нее взглядом.

— Какой коридор? Покажи.

Потом что-то сказал солдату, и тот исчез за дверью. Не выпуская из руки косарь, ведомая немцем Галина вышла в коридор, показала стоявшую крынку. Тут проснулся и заплакал Мишутка. Мать вернулась в горницу, взяла мальчика на руки, но подошедший к ним немец демонстративно отнял у матери сына, еще не совсем отошедшего от сна, и снова опустил в кроватку.

— Шляфен, шляфен, майн киндер, — все так же улыбаясь, тихо проговорил он.

— Я сейчас сынок...

Едва перешагнув порог и наклонившись за крынкой, Галина резко выпрямилась: немец обхватил ее сзади. Она дёрнулась, но вырваться не смогла: офицер повалил её на пол. Несколько секунд борьбы хватило Галине, чтобы

осознать, что должно произойти. Она, вывернувшись, освободила руку и что было сил ударила немца по голове косарём. Офицер, коротко вскрикнув, обмяк. Из головы брызнула кровь. Ещё не осознавая, что сделала, она сбросила с себя фашиста, вбежала в горницу, схватила сынишку и тихо, как ей казалось, вылезла с ним через распахнутое окно в сад.

— Тихо, Мишенька. Прошу тебя, не плачь!

Галина вдоль плетня и высоких подсолнухов с кукурузой бежала к реке, а там, на том берегу, балка с густым разнолесием...

Немец, стоявший на часах у крыльца, повернулся, прислушался. Ему показался подозрительным стук. Он не спеша поднялся на крыльцо, послушал тишину за дверью. Потоптался немного. Снова прильнул к двери и решительно распахнул её в сени... В тот же миг он выбежал на крыльцо, и полуденный зной пронзила автоматная очередь и гортанный крик: «Партизанен!»

По улице началась беспорядочная стрельба. Немцы, что были у колодца, бежали к дому.

На третий день в полдень фашисты под страхом смерти сгнояли всех жителей Радуницы на край села к дому Авдеевых. Не было видно только тетки Васёны и Алёнки. Васёна, узнав про беду невестки и облаву немцев, сказалась «больной». Она, чтобы их считали заразными, себе и племяннице намазала лицо и руки мелко натёртой красной свёклой. Уложив Алёнку, Васёна мокрым полотенцем прикрыла лоб и легла в постель сама. Зашедшие в избу немцы увидели «прокажённых», что-то поговорили между собой и удалились.

Люди притихли и потеснились ближе к дому, когда из него на крыльцо вытолкнули Галину. Она не успела, да и не могла уйти. Через два дня поздним вечером её схватили

ли в картофельнике за огородом. Вся избитая, в кровоподтёках, в ночной изодранной рубашке, она едва держалась на ногах, прижимая к груди плачущего маленького Мишутку.

Несмотря на истязания, она была прекрасна! Глаза горели искрами отваги и лютой ненависти! Весь её вид говорил о презрении к фашистам и смерти, о силе духа.

За ней на крыльце вышел офицер с забинтованной головой. Он ткнул стволом пистолета в спину Галины. Та пошатнулась, но устояла. Глазами искала среди односельчан Васёну и Алёнку. Не нашла: «Слава богу! Не увидит меня дочка... Спасибо тебе, мудрая Васёна!..»

— Шнэль! — офицер снова ткнул её в спину.

Мишутка беспрестанно плакал. Подошёл солдат, силой отнял его у матери, а саму подвели к тополю, на котором орудовали верёвкой солдаты. Галина сопротивлялась и кричала: «Миша! Миша! Сынок!..»

Мишутка плакал, болтая ножками в руках чужого солдата. Соседка Васёны, Ксения Ржанова подошла к нему.

— Отдай мальца, слышь, — и протянула руки.

Офицер что-то сказал солдату, и тот грубо оттолкнул женщину.

А петля уже опускалась с дерева, остановилась на уровне головы Галины.

— Будьте вы прокляты! — громко сказала она и повернулась к офицеру. — Жаль: не добила тебя, гад вонючий!

Немец спустился с крыльца и, подойдя к ней, с силой ударил по лицу.

— Вешай, гад! Вешай!.. — устояв, громко, чтобы слышали все, добавила: — Только знай, Россия никому не позволяла безнаказанно такую «роскошь» — хозяйничать у неё в дому!

Она перевела дыхание.

— Млека он захотел! На русскую бабу потянуло! У, гад! — и красной слюной сплюнула офицеру в лицо.

И тут же новый удар по голове пригнул Галину к земле. Она смолкла. Её приподняли, накинули петлю. Офицер брезгливо вытер платком лицо и махнул рукой.

Что-то шершавое, обвивая, стягивает ей шею. Собрав остаток сил, Галина громко, как ей показалось, крикнула:

— Люди! Вернётся Андрей...



Она не договорила: солдаты натянули веревку, и та пошла вверх... Люди ахнули и отвернулись в едином порыве, увидя, как за телом матери, привязанная к её ногам, поднимается маленькая фигурка Мишутки. Она цеплялась за зелёные ветки, и, казалось, сам тополь сопротивлялся этому злу.

Вокруг дома солдаты забегали с канистрами... Вспыхнула только что перед войной выстроенная изба. Она горела, как большой погребальный костер. Изба горела так жарко, что в саду под окнами закипали, вздуваясь, несозревшие яблоки. Словно салютая хозяйке, они лопались и падали на землю.

В мае 42-го, стрелковый полк капитана Авдеева из болотистой лесистой местности вышел без особо крупных боёв южнее Гомеля. С утра по позициям железнодорожного узла, куда вышли бойцы Авдеева, нанесла удар немецкая авиация. Только вышли к вокзалу — снова налёт. Комбат видел майора Зиму. С кучкой бойцов перебежками он старался пробраться под стены уже разрушенного здания: над ним поднимался серый пылеобразный дым. Авдеев кинулся за ними, увлекая за собой остальных солдат. Вой пикирующих самолётов прижал их к земле. Замполит едва успел крикнуть «ложись», как над ними, чуть не задев обрушившиеся стены вокзала, пролетел и взмыл лёгкий бомбардировщик, и в ту же секунду раздался глухой удар, от которого зашаталась земля. Обоих засыпало землёй и осколками битого кирпича. Самолёты ушли.

— Живой? — ткнув в бок комбата, спросил замполит, почувствовав, что Авдеев пошевелился. Зима, приподнявшись на локоть, оглянулся.

— Смотри... — шёпотом, мотнув головой, произнес майор.

У Авдеева зашевелились волосы: в двух метрах от их ног наполовину ушедшая в землю торчала авиабомба... В секундном оцепенении им показалось, что крыльышки ее стабилизатора шевелятся.

— Бежим! — крикнул майор.

Вскочив, оба бросились под груды кирпича, и тут раздался взрыв... по спинам сбитых с ног офицеров застучала кирпичная крошка. Взрывной волной их отбросило под угол здания.

— У-ух! — произнёс Зима, откинувшись на спину. — Значит, будем жить, — он приподнялся, снял фуражку, рукавом вытер с лица пот. — У-ух! Пронесло...

Авдеев взглянул на политрука...

— Простите, товарищ майор за юмор...

— Какой юмор? — перебил он капитана. — Что остались живы? Ничего себе...

— Я не о том, товарищ майор...

— Ну!

— Вы стали трижды... зима.

— Как и почему? — поинтересовался заинтригованный политрук.

— Достаньте зеркало.

— Какое зеркало, капитан? Бойцов собирать надо!

Они встали. Рота за ротой уже шли в их сторону.

— А всё-таки.. — настаивал Авдеев.

Через минуту у политрука поползли вверх брови, когда он увидел свое отражение: Зима стал седьмым...

Война продолжалась. По всему фронту шли ожесточённые кровопролитные бои. При переправе через реку Березину фронтовые дороги майора Зимы и комбата Авдеева разошлись. Еще на берегу комбат был ранен осколком снаряда под ключицу.

...Тот берег, куда его батальон должен был переправиться, полчаса тому назад был окутан тихой предрассветной мглой, сейчас покрыт сплошным грохотом. Шла артподготовка. Снаряды всё ещё проносились над головами, и вихри разрывов взвивались к небу.

Роты батальона Авдеева по знаку командира проползли еще шагов двадцать, продвинулись к самому берегу и оказались вплотную к разрывам — дальние кипящая от снарядов вода и противоположный берег. Ударил последний срудийный выстрел — и вновь такая тишина свалилась на землю, что Авдеев чуть не крикнул от неожиданности. Артподготовка закончилась. Все бойцы и сам Авдеев лежали не двигаясь. Внезапная тишина как бы прижала всех к земле. Это был момент начала броска через реку — всего

несколько мгновений, когда самые бесстрашные люди чувствуют мучительную нерешительность.

Командиры подняли головы, Авдеев широко взмахнул рукой в сторону переправы и встал. Бойцы медленно, словно родная земля не отпускала их, стали вставать и, зачем-то оглядываясь назад, сутуясь и пригибаясь, тяжело побежали к берегу, неся на руках средства переправы. Вот бежит боец Муромцев в мокрой от ночной росы шинели, опустив синевато поблескивающий штык; рядом с ним семенил его сосед, небольшого роста пехотинец, и Авдеев видит его угловатую согбенную спину...



Пологий в этом месте берег Березины, поросший ольшаником, был залит сиянием разгорающегося утра. Всходило солнце, и с первыми его лучами на землю и водную гладь хлынула такая всеохватывающая золотистая волна света, что Авдеев невольно на мгновение зажмурился. Казалось, войны не было вовсе. Андрею захотелось остановиться, осмотреться и закричать бойцам:

– Смотрите, бойцы! Тому, что вокруг вас, нет цены! Это – жизнь! Всё это принадлежит нашей любимой Родине, а значит, и вам! Давайте, ребята, убьём смерть, убьём – и будем жить!

Свинцовая струя, прилетевшая с противоположного берега, потушила это желание. К этой струе сразу присоединились струи слева и справа и, скрестившись между собой низко над землёй и водой, несли невидимые смертельно разящие мечи. К пулемётам присоединился сухой стрекот автоматов, льющих свинцовый ливень прямо в лоб красноармейскому десанту, однако комбат видел многих бойцов, толкающих плоты и плывущих на них уже к середине реки. Заговорила и артиллерия.

Многослойный, однообразный свист и грохот висели над берегом. Пули срезали, как бритвой, кусты прибрежного кустарника. Бойцы, вскидывая руки, падали с плотов. Авдеев, торопя бойцов, помогал шестом оттолкнуть от берега последнее плав-средство с пулеметами, когда разорвавшийся снаряд снял с плота половину бойцов, а комбат, схватившись за плечо, упал навзничь в кипящую от пуль и разрывов прибрежную волну...

За полтора месяца, что провалялся Авдеев по госпиталям, его батальон ушел далеко на запад.

Залечивая рану, капитан часто вспоминал семью, как провожала она его на фронт. Боль раны усиливалась болью воспоминаний: осенняя дорога, мокре живье, слякоть, и Гая с маленьким полугодовалым сыном Мишуткой на ру-

ках, а рядом, по грязи, шлепая большими, не по размеру ноги, галошами, шла дочка Алёна... Во сне виделся с матерью, соседом Егором. В памяти был и председатель колхоза Иван Васильевич. В трудные моменты, при воспоминании напутствий своего колхозного начдива, Андрей не без тщеславия улыбался, думая, как удивился бы, наверное, тот, узнав, что он вступил в ряды коммунистической партии.

Здесь, на войне, он многое понял и окончательно убедился: советские люди принадлежат к тем немногим народам, которые имеют право сказать: «Мы никогда не будем рабами!» Ведь само наше существование как самодостаточного государства в суровых северных широтах есть не что иное, как вызов и постоянный раздражитель европейской цивилизации. В истории тому много примеров. Да, в нашем суровом kraю не слишком много комфорта. Но у нас, как и у наших предков, есть святые заветы, и они в нашей крови: лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

...В одном из боев батальон, которым он командовал, раз за разом вставал в атаку. Гибли бойцы... Видя это, политрук батальона Зима подошел к комбату:

— Андрей, останемся живы — давай встретимся у меня, в Кузбассе!.. А сейчас: увидишь меня на бруствере — поднимай бойцов.

И ушёл к передовой линии, чтобы снова поднять людей в атаку. Он подполз к переднему kraю, поднялся во весь рост на глазах залегшей под вражескими пулями пехоты и, как однажды, по рассказам бывалых солдат, полководец Константин Рокоссовский, достал из кармана пачку «Звёздочки», закурил папиросу. Снял фуражку. Его белая голова хорошо была видна. И бойцы видели своего комиссара. И встали. И не было меж них менее или более храбрых. Встали все и пошли в атаку. И смяли врага.

Вспоминая этот, можно сказать, героический поступок политрука Зимы, Андрей, как и все советские люди, верил: мы победим!

В схватке с фашизмом победит русский интеллект, сплав советских людей, обреченных на Победу.

Гитлеровская армия, как любая захватническая армия, насквозь была пропитана страстным желанием наживы, силой отнять как можно больше чужой территории для своего послевоенного благополучия.

Замешанная на европейских военных суррогатах, коммерческая фашистская армия не могла выиграть начатую ею войну. Несмотря на временные значительные успехи, она была обречена проиграть её.

Гитлеровская военная верхушка, вероятно, плохо знала историю и была слишком самоуверенна, рассчитывая быстро увеличить свою территорию и жизненное пространство за счет территории Советского Союза.

Но фашисты просчитываются. Они, не зная русского характера, не учли веры и силы духа советских людей. А ведь история не раз учила: любая военная авантюра против России еще в самом начале попахивает трупным душком ее вдохновителя.

Ломая хребет отлаженного механизма немецких войск, жертвуя миллионами жизней в священной освободительной войне, народ верил и знал: вопрос Победы Советского Союза был во времени...

Убог сноуб осень. Осень 1950 года.

Уборочная подходила к концу, а дни все стояли солнечными, ясными. Природа явно благоволила к землепашцу.

Хорошо в такое время ехать по сухому, укатанному проселку. Тарантас потряхивает, подкидывает на ухабах, но ты не сетуешь на дорогу: разве могут теперь омрачить настроение такие пустяки, ведь урожай-то убран и свезён в сусеки землехранилища. В последние годы председатель пересел с коня под седлом в бричку.

— Давай-ка к Николаю Варёнову завернем, — сказал Иван Васильевич новому секретарю парткома Логинову Александру Сергеевичу, — надо взглянуть, как он там целину поднимает.

Впереди показалось вспаханное поле.

— Вот оно! — оживился Иван Васильевич, останавливая коня.

Он сошел с тарантаса, увлекая за собой секретаря парткома. Оглядев ниву довольным взглядом, заметил:

— Будет толк, будет. Молодец, Степаныч! Его инициатива. Луг совсем бросовый был, и он решил в него новую жизнь вдохнуть. На него и раньше, еще в бытность Андрея Авдеева, смотрели, да сил не было. Конем его нельзя было взять, а с приходом техники решили одолеть.

С противоположного конца поля, упирающегося в мелкий, редкий березняк у деревни Отлужново, тарахтя, поднимался трактор.

Бригадир, увидев на полосе гостей, остановился.

— Хорошо вспахал! Глаз радуется, — похвалил председатель подошедшего к ним бригадира.

— Обыкновенно, Иван Васильевич. Тут любого поставь... — поскромничал тракторист.

— Нет, не скажи, не скажи, лучше тебя тут никто бы не управился, — вновь похвалил его председатель. — Ты ведь у нас и бригадир, и агроном, и, стало быть, тракторист. Спасибо тебе, брат! — и, пожимая Николаю руку, вспомнил бригадное собрание.

Когда встал вопрос о новом бригадире, председатель так и сказал:

— Второго такого бригадира, каким был коммунист Андрей Авдеев, в нашем колхозе можно найти. Предлагайтесь и выбирайте сами.

Хотя председатель, если бы стал говорить о ком-то другом, то наверняка бы поставил в ряд с ним около десятка таких же деловых, принципиальных, преданных делу земледельцев, колхозников. Но Иван Васильевич хотел, чтобы члены артели выбрали себе бригадира сами. Есть старые, но в основном молодые, коммунисты и беспартийная молодежь, да закваска у всех одна...

Слово взял Егор Денисов. Вид у него был вполне «пенсионный»: пришел он в своем стареньком домашнем пиджачке и в валенках. Только добрые, как бы смеющиеся глаза его возрасту не поддаются. Подошел к трибуне. Глянул в зал. Лукавая улыбка словно бы все время предупреждает: ну, сейчас держись, выдаст абзац житейской нравственности или отмочит какую-нибудь шутку. Однако, как говориться здесь, не бегая через Сидорово в Маклаково, Егор Кузьмич серьезно кинул в зал:

— Что тут калякать, граждане? Я предлагаю всеми уважаемого Николая Степановича пересадить с трактора на тарантас с жеребцом. Вручить ему, вместо руля, сажень-рулетку, и вся недолга — бригадир готов!

Он хитро прищурил глаза:

— Кто за?..

И когда уже отъехали, Иван Васильевич, продолжая любоваться ровной черно-рыжеватой вспаханной целиной, сказал еще раз:

— Ишь как нарисовал!

Логинов улыбнулся. Его восхищал в председателе это истовое, преданное уважение к земле, к крестьянскому труду.

— Николай Варёнов действительно достоин похвалы, — продолжал говорить председатель о бригадире. — Первый колхозный тракторист предвоенных лет. Ушел на фронт! Вернулся с Победой и снова на трактор. Обучил своей профессии колхозных парней и свой трактор отдал молодому Вальке Коренёву, по прозвищу Маугли.

— А что же бригадир сам за рулем?

— Он лично решил взломать этот целинный, заросший кустарником луг, а Валька — Маугли зябь поднимает на Барских полях. Немного осталось.

Александр Сергеевич невольно любовался седым, уже порядком уставшим и постаревшим председателем, в жизни которого было главным из главных — накормить крестьянина. Досыта, чтобы смог он, наконец, зажить по-человечески, не страшась за свой завтрашний день. Об этом он думал перед войной, во время войны и после её окончания. Это его цель, познавшего с малолетства горчайшую нужду, была самой понятной, близкой, святой. Он думал о людях неотступно, упрямо, несмотря на окрики и угрозы, идущие из райкома, сжав зубы, готовый отдать все. И отдавал. Всего себя. Уже пятнадцать лет...

Еще недавно Логинов «знал» Ивана Васильевича как самодура, своеольника, давно стоявшего одной ногой перед дверью тюремной камеры, которая не захлопывается за ним, как за его бригадиром Авдеевым, лишь потому, что колхоз все последние годы шел в передовиках.

Но Александру Сергеевичу от доброжелателей Ивана Васильевича слышать доводилось и такое: у телеги колхоза им. Кирова председатель как лошадь: передние колеса везет, а задние сами катятся. Говорили и такое, что давно бы Ивану Васильевичу надо, как Паше Ангелиной, в героях ходить, да ему, как хорошему танцору, вечно что-то мешает...

В настоящее время мнение о председателе у Логинова поменялось.

А ведь недавно...

Надежда Михайловна после рождения третьего ребёнка по состоянию здоровья не могла работать главным агрономом и совмещать должность секретаря парткома. На ее место и порекомендовал райком партии Логинова Александра. Новый секретарь повел себя на первых порах как заштатный работник райкома, вызвав недоумение и недоверие Ивана Васильевича. И хотя, как говориться, свежему яблочку червоточина не укор, между ними возник конфликт.

На заседании парткома создалась довольно щекотливая ситуация. С одной стороны сидел ветеран колхоза, можно смело сказать, его организатор, старейший коммунист, к которому каждый из сидящих здесь членов парткома питал привычное, почти гипнотическое уважение, с другой — новичок, проработавший в колхозе без году неделя и годившийся первому в сыновья.

Представитель райкома, члены парткома и приглашенные на его заседание уважаемые колхозники испытывали некоторое замешательство от того, что впервые пришлось разбирать конфликт между председателем и секретарем парторганизации. Но «молодой» был, кажется, прав больше, чем «старый», и по уставу от этого нельзя было отмахнуться.

Началось всё с того, что новый секретарь был включён в состав комиссии, которая должна была проверить готовность бригад работать в зимних условиях. С выводами, сделанными комиссией, председатель был не согласен. Возможно, у него были на то какие-то особые причины, но Логинов категорически настаивал на своём, и вот тут-то Иван Васильевич и «осадил» молодого парторга.

Выступившая на парткоме звеневая льноводов Александра Николаевна Таржунина, кажется, высказала общее мнение:

— У Ивана Васильевича большие заслуги перед колхозом. Это надо учитывать, — и тут же оговорилась: Да, это у него бывает от... нервов, но мы уже привыкли к его незлобным выпадам. Характер у него правдивый, честный. Просто устал человек...

Хмурится в своем углу старый председатель, еще больше уходит в себя, мало слушая выступающих. О чем он думает, что вспоминает? Не свою ли партийную молодость, когда с оружием в руках стерегли колхозные поля и амбары от кулаков и бандитов? Да, жизнь свою сознательную воином начал и до старости лет воевать приходится...

Очнувшись от минутных воспоминаний, суровит брови Иван Васильевич, а разговор, между прочим, к концу подходит, и вывод сделан не в пользу председателя.

— Ну, так как, Иван Васильевич, — слышит он голос Логинова, — сработаемся или нет?

— Не знаю, не знаю, — упрямится председатель.

— А по-моему, так сработаемся, — Логинов глядит прямо в лицо председателю и, увидев его сердитым, все в глубоких складках, говорит, улыбаясь одними глазами: — Никуда я, дорогой Иван Васильевич, из твоего боевого «эскадрона» не уйду, если, конечно, коммунисты не прогонят. Так что терпи. Беззубых и беспринципных ты и сам никогда не терпел.

— Не знаю, не знаю, — повторил председатель.

Однако в тоне его уже не было прежней угрюмости, и сердился он уже скорее всего для виду. И все это почувствовали и облегчённо вздохнули. Закончился этот нелегкий разговор, где никто не покривил партийной совестью, и можно было, как прежде, честно и открыто смотреть друг другу в глаза.

Но вот Иван Васильевич встал. Взглянул на Логинова и, протягивая ему руку, с грубоватой теплотой сказал:

— Держи. На дружбу.

Александр Сергеевич, подняв на него глаза, крепко сжал тяжелую теплую ладонь.

Они сошлись несходими своими характерами, оценив, друг в друге честность и прямоту, трудолюбие и неутомимость в работе...

Тарантас потряхивало на ходу и сытый конь, управляемый председателем, катил их на правобережье Вазы. Секретарь парткома невольно любовался Иваном Васильевичем, с тайной гордостью думая о том, что немало таких вот славных людей есть в партийной семье теперь и его колхоза.

За рекой, за оголившимися уже кустами угадывались неоглядные дали, и радостное ощущение этого беспрепредельного простора рождало в душе какие-то новые силы.

В конце 50-х катилась новая волна безумия:

закрывались и рушились святыни. У людей вырывали корни русской православной веры, нравственные устои. Советская власть вела гонения на церковь со всех сторон. Но на периферии, в глубоких и дальних окраинах страны, народ не терял веры, взирая на бесчинства и глумления над церквями.

В передовых умах советских людей вставал вопрос: зачем в интересах узкого круга католических безбожников, для чего были разрушены десять тысяч святынь? «Гордость, лень и невежество, — писал Лев Толстой, — толкают человека к атеизму». В языке науки не существует понятий добра и зла. Но злоба, безверие и гордыня никогда не улучшают жизнь народа, а заводят его на тонкий лёд нравственной и духовной погибели.

И всё же, верим мы в Бога или нет, мы должны понять, что если мы становимся нищими в духовном отношении, то заполняем души невежеством и неизбежно перестаем ощущать свою ответственность в борьбе с этой самой духовной нищетой и безобразиями еще не расцветшей, но уже загнивающей цивилизации.

Как бы ни называли зло, оно, безусловно, существует, как и его извечный противник — добро. Мир, в котором мы живем, с самого начала bipolarен! Белое и черное, свет и тьма. Но самое страшное зло в том, что советский народ с момента разрушения церквей стал страдать от гигантского дефицита моральных норм...

С кафедр институтов, Дворцов культуры, с подмостков клубных сцен и изб-читален, в прессе всех уровней велась оголтелая антирелигиозная пропаганда. В учреждениях культуры ставились и разыгрывались одноактные пьесы, в которых высмеивались церковные священнослужи-

тели. Молодые люди надевали подобие рясы священника и под саркастический смех декламировали:

...На селе одна отрада:
Пашем, сеем, жито жнём.
Бога нет, царя не надо –
И без них мы проживём!
Кто ж не сеет и не пашет,
Не валяет дурака:
На церквях метлою машет –
Гонит Бога в облака.

Из-за кулис выходит другой:

Спьяну матушка Прасковья
Влезла в мужнины исподни,
А поп-батюшка орёт:
– Отрезви её, Господь!

В задних рядах слышится голос пожилой женщины: «Уверните свет лампы!.. В темноте не так стыдно...» Но на сцене всё остается по-прежнему и молодой голос продолжает:

Поп наш батюшка Федот,
Заболев, в больницу прёт,
Остальному населению
Просит Бога в исцеленье...

Воинствующий атеист заведующий Кромской сельской библиотекой пошёл дальше иных активистов. Он снял, несмотря на протест матери, с домашней божницы все иконы, выкинув их на чердак. Библиотекарь Антонов Анатолий проводил публичные споры – дискуссии на мир-

ские и потусторонние темы с тогдашней попадьёй — матушкой Варварой Ивановной Зиминой. Спокойная, уравновешенная, грамотная матушка Варвара начисто опровергла все доводы о не существовании Бога. Её оппонент Антонов тоже за словом в карман не лез: воинствующе отвергал все её аргументы о его существовании.

Антонову советовали опомниться, унять пыл и не боитьсяствовать, иначе Бог его накажет.

— Не накажет. Его нет и быть не может, — заявлял он.

Его молодая жена Елена, работавшая врачом в Кромском медпункте, в то время была на сносях первенцем. У них родился младенец: у него правая ручка и ножка были короче левых.

— Бог покарал антихриста... — говорили бабки — кликуши.

Тогда Антонов, чтобы он больше не карал его, взял святые образа, расколол их в щепки топором и... сжёг в печи. Когда он кинул осколки икон в огонь, пламя неожиданно красным сгустком полыхнуло из печки в лицо библиотекаря, опалив его брови и волосы... Позже прошел слух, что Пестяковской районной епархией Антонов был предан анафеме...

Обезглавлены и закрыты были церкви в Верхнеландеховском районе. Местную белокаменную закрыли и в центре Кромского сельского Совета, на территории которого был Брусовский колхоз им. Кирова. Под ее сводами в одной половине разместили машинно-тракторную станцию, другую приспособили под зерновой склад.

В планах работ культурно-просветительных учреждений делался акцент на антирелигиозную пропаганду.

Заведующий отделом культуры района Галина Ивановна Забелина в столице на слете работников культуры и искусства, во время доклада о действенности антирелиги-

озной работы в районе, была прервана министром культуры СССР Е.А. Фурцевой.

— Скажите, сколько церквей закрыто в районе?

— На данный момент — ни одной, но ведется...

— Ваше выступление закончено...

Приехав из Москвы, Галина Ивановна на заседании бюро райкома поставила вопрос:

— Будем закрывать собор в райцентре? — спросила и тут же сама ответила: — Будем! Москва называет нас попами, а не работниками культуры.

А вскоре общественность района всколыхнуло неординарное событие, давшее пищу для прессы и прокуратуры, и долго еще будоражило православный честной народ...

28 июля 988 года по решению князя Владимира языческая Русь приняла христианство. Этот день вошел в историю, как День крещения Руси.

Именно в этот день 28 июля 1958-го года, на главную площадь райцентра к стенам собора стали стекаться люди.

Прошел слух: будут снимать с него крест. Нашёлся мужик — верхолаз. Смельчак за ящик сорокоградусной согласился подняться на шпиль собора.

В назначенный час он, опоясав себя широким монтажным ремнем верхолаза и зацепив за него конец троса, показался на крыше. Оглянулся на площадь: в пятидесяти метрах от собора, на брускатой площади, стояли два колесных трактора. Милиция и канаты с флагштоками оттесняли народ с площади дальше, к улице. Мужчина поклонился народу, перекрестился и, обхватив остов креста, стал подниматься. Площадь притихла. Это снизу кажется просто, а, смельчаку надо тянуть за собой металлический трос на восьмиметровую высоту. Вот он ухватился за крест-перекладину, встав на него во весь рост, подтянулся и за-

крепил трос на остов креста. Медленно спустился и взмахом руки дал знать, что, мол, все готово.

Два трактора, спаренные в одну сцепку, по команде натянули трос, но она, высекая шипами задних колес скры из брускатки, не сдвинулась с места. От перегрузки глохли моторы. Их запускали снова. Крест не поддавался. Потом рывок, другой, третий... Толпа ахнула: крест наклонился. Еще рывок... и восьмиметровая святая машина пошла вниз. В считанные секунды крест упал с небесной высоты, глухо ударил в центр тяги. Толпа оцепенела, увидев, как покатились в стороны колеса, а крест замер, успокоившись на остовах машин и телах трактористов. Люди, приглядевшись, смяли милицейское оцепление, окружили место трагедии...

Народ смотрел на обезглавленную святыню и молился:

- Христопрода́вцы... Прости их, господи...
- Господь покарал антихристов...
- Покарал, да не тех...

Православная христианка Анна Саввична Денисова, услышав о кощунстве в отношении собора, сказала:

– Миром правит диавол, а он не сторонник созидания, он – рушитель. Его посланник бес вселился в души многих антихристов, и они сами того не ведают, что вершат, – она перекрестилась на образа. – Вера в Бога, как во что-то высшее, необъяснимое, остерегает людей от совершения величайших ошибок и мерзостей... И придет время, когда дети, внуки и правнуки теперешних заблудших душ, искупавшись в течении безнравственности, вырастут и сами решат, какому богу молиться...

Наверное, в большинстве своем люди идут к Богу из личной трагедии, когда теряют все, когда нет смысла жить... Может, какой-то камень залег в душе по известной лишь одному человеку причине,.. тогда дорога ведет к

храму. Но мы сомневаемся. Как быть? Митрополит Антоний Сурожский говорил: «Если человек сомневается, значит, он должен подняться на новую ступень понимания Бога и продолжать жить»...

Интересен и загадочен страж ме-

стных лесных угодий – лесник Малина. Поначалу имени и фамилии не спрашивали – видели редко приезжающего лесника, однако прозвище Малина дали быстро за его поговорку «ягода-малина». Лесник не обижался и охотно откликался на него, как на собственное имя.

Окладистая густая борода и две большие седые пряди в волосах головы лесника подчеркивали, казалось, его солидный возраст.

Малина крепкого телосложения, с ручищами, как у медведя лапы, что говорило о его недюжинной силе. Рассказывали, что не так давно видели, как он без каких-либо приспособлений гнул дуги одними руками. Или, прежде чем запрягать в груженую телегу лошадь, Малина сам брался за оглобли и тянул воз, проверяя, посильна ли лошади поклажа.

Говорили также, что по ночам лесное зверье к его избушке в гости приходит и что у него даже уши шевелятся на каждый звук или ночной шорох.

Так или нет, но с виду суровый, замкнутый лесник Малина был человеком общительным. Зайди к нему в сторожку, что на светлой поляне стоит, встретит приветливо. Обязательно напоит душистым чаем из лесных трав с малиновым вареньем, попотчует солеными груздями. Укажет грибные и ягодные места и на дорожку беседу-лекцию проведет о правилах поведения в лесу.

При входе главной межрайонной дороги в свои угодья он установил деревянный щит-плакат: «Стоп! Ты пришёл в гости к природе. Не делай с ней ничего такого, что неудобно делать в гостях».

На больших и малых лесных дорогах своего обхода лесник строил беседки, шалаши, столики с лавочками и

рядом копал колодец – отдохни, путник, испей студеной влаги – или делал указатель до ближнего родника.

Местные старики, которых на пальцах перечтешь, если бы узнали в Малине своего односельчанина, вспомнили бы лесника женатым. Для людей средних лет и молодых он – старый бобыль.

Малина появлялся в Брусовах в середине 50-х. устроился в Пестяковском лесничестве, попросился сюда, в Кромский сельский Совет, на его благо, была вакансия. Жил Малина в лесу, в сторожке, завел собаку, чтоб как-то скрашивала она время его одиночества. В селе лесник появлялся редко, разве что за солью и спичками заходил в сельпо или в правление колхоза.

Ежели задавали ему вопросы на житейско-семейные темы, отвечал уклончиво, однозначно, замыкался, вспоминал неотложные дела, уходил от разговора.

Любили Малину в округе и стар, и млад. И прозвище ему дали сладко-ласковое – Малина. И он называл так при разговоре или личном обращении только тех, кого уважал, к кому был расположен.

Так и остался бы, может быть, Малина для людей загадкой на долгие годы, если бы не случай, после которого в Брусовах подумали, что лесник сошел с ума.

Год назад, когда в угодьях местного лесного массива стали намечать делянки для лесозаготовок, Малина, круто изменив характер, стал неузнаваем. Ходил расстроенным, неразговорчивым, злым. Ездил в район, обивая пороги начальственных кабинетов.

– Что же это такое, Ягода-Малина?! – с грохотом опуская свои тяжелые пятерни на стол директора Пестяковского гослесхоза, вопрошал лесник.

– В чем дело, уважаемый... Малина? – директор с ходу назвал лесника по прозвищу.

— Как в чем дело? — лесник без приглашения опустился на стул. — Губите неспелый лес. Он в этом квадрате еще молод.

Директор поднял вопросительно брови, но лесник, не дав ему заговорить, продолжил:

— Да я про то, ягода-малина! Если сведем молодой лес в этом участке, то получится, как у того петуха: я, дескать свое откукарекал, а там может и не рассветать! Не верно это! Надо, ягода-малина, и жить, и делать с оглядкой на будущее.

— О чём вы? Скажите же, наконец, — снова спросил Малину директор.

— Да все о том же. На этом участке высохнет Ваза — радость и большое людям подспорье! Погибнут покосы, ведь больше половины кормов колхоз им. Кирова заготавливает именно в пойме этой реки и Цыганском долу!.. Нет, вы только подумайте: лет так через десять-двадцать сотни гектаров прекрасных естественных покосов исчезнут с лица земли!

— Да, но у нас план, — поняв, наконец, неспокойного лесника, сказал директор.

Но Малину остановить уже было нельзя. Обычно спокойного, немногословного лесника словно прорвало словоизобилием, а директор молча слушал умные, грамотные аргументы в пользу говорящего.

— Надо беречь природу, землю, помня о полях, лесах и то, что мы не хозяева, а только лишь временные ее пользователи. Оставить природу чистой, целой, незагаженной, тем, кто идет вслед за нами, наша святая обязанность.

Малина немного помолчал, также в упор глядя на директора, и продолжил.

— И о плане. Вы пойдите, ягода-малина, в районное сельхоз управление, спросите, если вам не в тягость это,

какие им спущены планы... – Поголовье скота растет? Растет. Новые фермы строятся? Строятся. Молоко...

– Доводы ваши веские, уважаемый Малина, – директор из-за почтения к умному лесничему не стал разглагольствовать и обещал изменить направление шестого квартала. – Да и разговор об этом уже был с вашими агрономом и председателем, правда, без деталей.

Услышав обещанное, лесник смягчил ток.

– И начинать вести вырубку, я полагаю, надо не от края колхозных полей, не от дома – кто ж, кроме курицы, от себя гребет – а из глубины леса, от Порзднянской межрайонной границы.

Директор поднял на Малину вопросительный взгляд.

– Далеко? Ничего, ягода-малина, уважаемый товарищ Рогачев, – впервые назвал лесник директора по фамилии, но, так и не услышав своей, ответил на негласный вопрос: – Это «далеко» всё равно когда-то будет. Да и по людскому уразумению исстари ведется, что деревни и хлебные поля, а так же реки, как минимум, должны верст на пятьдесят окружаться лесами...

Малина взглянул на спокойное лицо Рогачева (видно было, что убедил) и как-то глубоко вздохнул:

– Не о себе пекусь. Мне жить-то с гулькин нос... А шестой квартал можно повернуть в сторону Красного болота: там покосов нет, а леса зрелые.

На том и сошлись.

И все же немало сил и здоровья стоила леснику Малине его ходьба, но он отвоевал лес от ранней вырубки, сохранив покосы на Вазе и тот черный таинственный пруд, который, как и река, были бы обречены. И все-таки граница лесосеки прошлась краем просеки через всю его жизнь, больно резанув по сердцу...

С левой стороны Цыганского дола, недалеко от балки, в глухом ельнике находилась небольшая поляна, по-

среди которой стояла старая могучая ель. Когда-то это было более светлое место, но время внесло в жизнь поляны свои поправки: заселило ее молодой порослью. Малина провел санитарную вырубку, и поляна снова стала светлой.

Когда же лесорубы стали подходить к балке вплотную, Малина снова заупрямился. Больно, словно пулей, обжигало сердце лесника, когда видел он, как наклонялись деревья и, ухнув, словно выдохнув в прощальном полете, ложились на землю, вздыбив плантацию спелой черники. Нет, он не плакал — жесткий ком в горле мешал ему дышать.

Когда до заветной поляны и старой ели осталось метров пятьдесят, лесник буквально не отходил от лесорубов. Он то падал перед ними на колени, чем немало потешал парней, то подходил к ели, судорожно хватал ладонями и гладил ее шершавый ствол.

— Сынки мои! — обращался Малина к лесорубам, загородив собою старую ель. — Дерево это до моего рождения уже росло. Вырос я, с сорок первого до конца с немцами воевал — уцелел. Сталин в лагерях гноил — слава богу, выжил. А вы меня в мирное время на старости... одним махом...

Лесорубы недоуменно переглянулись.

— Не тебя, Малина. Мы лесозаготовку ведем.

— Да на кой эта елка тебе сдалась?

— Да одни мы с ней на этом свете остались, — подавленно, с грустью сказал в ответ лесник. — Я к ней сквозь годы испытаний шел. Теперь храню, как любовь свою...

Лесник повернулся, снова обнял дерево:

— Не переживу, если увижу, что раньше меня упадет.

— Ну, вот что, уважаемый Малина, или ты артист хороший или, извини, белены наелся, — съязвил один из парней.

— Ягода-малина! — снова взмолился лесник. — Да в норме я, в уме, значит.

— А раз в уме, то перестань загадками говорить, да и короче. Никак до ума не доходит.

— Короче? — серьёзно спросил Малина. — Ладно. У меня на сберкнижке малость... имеется. Копить не для кого. Весь этот край балки покупаю у государства. Всё. Коротко. Зовите начальника участка.

Начальник появился через день. Зная хорошо лесника, Владимир Маурин, как и подобает в подобных случаях, начал с приветствия.

— Здравствуйте, уважаемый Малина! Чего опять случилось? — подошел, подал руку.

Подошли лесорубы.

— Здравствуй. Вот я и говорю, ягода - малина, — забыв только что услышанное имя и отчество начальника, однако подал руку, — я же советский человек, и лес, стало быть, советский.

— Все правильно! Присядем.

Поблагодарив начальника участка, Малина тяжело опустился на белый ствол березы.

— Так, значит, хочешь купить этот лес? — Маурин махнул рукой в сторону балки. — Так ведь ты и так уже отобрал у нас тысячи кубов!

— Отобрал? Что и где? — удивился лесник.

— А Цыганский дол, а левобережье Вазы?

— Э-э-э... Я хотел оставить для потомков, так-то, — ответил Малина.

— Ну, хорошо, — согласился Маурин. — А балку? Тоже для них? А эта старуха — ель? Да она на корню сгниет, не дождавшись топора твоих потомков. Ну, а уж если... Ты в лесу хозяин, строй хоромы. Леса еще много.

— Это правда, — согласился лесник. — Леса много. Пока... Много. Но мне, ягода - малина, вот эти деревья любы.

— Хитришь что-то, товарищ Малина, да и хоромы тебе, пожалуй, ни к чему. Ты уж прости, но как мне известно, живешь...

— Накажи ребятам, — перебил Маурина Малина, — чтобы не трогали лес вдоль балки. Идем...

Они подошли к ели с аккуратно обрезанными сучьями на вытянутую руку. С южной стороны ее ствола был большой муравейник.

— Пока я жив на этой грешной земле, ни одна иголка не упадет с этой ели по вине человека...

О чём дальше говорили лесник с Мауриным, лесорубы не слышали. Из глубины лесосеки они лишь видели ходивших вокруг дерева двух мужчин. Выделялась сильная фигура лесника. Когда он останавливался, у него сильно вздрагивали плечи и было не понятно: смеялся Малина или плакал.

После суровой зимы

наступил относительно теплый период. Ночи и утренники пока ещё были морозными, но к полудню чувствовалось приближение марта.

Малина спал сегодня плохо и тревожно. Нет, ему не снились кошмары войны, как это бывает с фронтовиками. Ему виделась какими-то отрывками, как кадры в кино, прошедшая жизнь...

Лесник встал, затопил печь, чтобы согреть за ночь остывшую сторожку. Сделал нехитрую зарядку, и Серко, глядя на хозяина, тоже, вытянув вперед лапы, прогнул спину и потянулся. Пока разгоралась печь, лесник, надев полушибок, вышел на улицу.

Куда ни глянь, белый мир. Белые сосны, в белых тяжелых ризах березы. На Цыганском долу из-за реки, как нигде в остальном лесу, влажный воздух, и поэтому в здешнем лесном kraю свой Вазовский, климат. Возможно, ветры, дующие вдоль дола, упираются в стены плотного леса и оседают пушистой изморозью. Лес насквозь белый. Иногда мутная хмаря мешает сориентироваться, хотя знаешь всю округу как свои пять пальцев. Лесник часто любил ходить на лыжах по знакомому лесу. Выходя из протоки Вазы по краю дола, в стороне меж деревьев, видишь деревню Отлужково. Горстка домов. Дымы из труб. По равнине к деревенъке ползет воз с сеном. У крайних изб бегают две собаки, сороки ныряют в морозном воздухе над домами и огородами. На избах, на приземистых баньках, на берёзах вдоль улицы, на уютных стожках у околицы сверкает иней, и кажется, что в солнечную погоду сам начинаешь светиться. И этот застывший мир, как белый нежный узор, так хрупок, что крикни — и от твоего голоса вздрогнет вся эта красота: вздрогнут березы, резные наличники на домах, вздрогнут стожки, и посыплется морозная снежная пыль...

Сегодня Малине идти на лыжах не хотелось. Он молча стоял на крыльце сторожки под впечатлением сна... Вот они с Галей бегут на лыжах меж пушистых сосен. Галя смеётся, из-под платка на голове исходит пар, и она бежит и бежит, а он никак не может её догнать. Вот она скрылась за молодыми соснами, поднялась куда-то на пригорок, вновь нырнула вниз, и смех её и озорное «догоня-я-я-й» тает и стихает в белом пространстве... «Вот сейчас увижу. Вот сейчас догоню...» Не успел... За ворот сыплются холодные белые иглы...

Малина повернулся лицом к поляне. От крыльца к величавой в снежном убранстве ели тянулась тропа...



Андрею вдруг показалось, что ель, широко раскинув ветви-руки, похожая на Галину, качнулась и помчалась через поляну сюда, к крыльцу сторожки, чуть наклонившись

вперёд от нетерпения. Андрей закрыл глаза и, вытянув для объятий руки, шагнул навстречу.

... Над лесом в морозном воздухе висело солнце, и летала, крутилась наша планета...

У него было много дорог. Дороги по зову сердца, целевые, где он искал самого себя и утверждался, была короткая дорога любви. И была дорога внезапная, нежданная – дорога войны, испепеляющая не только душу, но и саму плоть человеческую. Была еще дорога... по принуждению. Но малина знал, сердцем чуял: где-то там, на одной из этих дорог, он оставил веху – молодую веточку – росточек своего старинного русского древа.

Малине хотелось опять вернуться в ту пору, когда все еще было впереди, как белая лента дороги, как лыжня, уползающая за ним назад. Но чтобы вернуться домой, надо знать, что тебя там ждут. А кто ждет его, Андрея?

...Оказывается, есть еще одна дорога, о которой он раньше не знал, о которой и не подозревал: дорога, увлекающая в одно и то же время и вперёд, и назад, а вернее, в глубь самого себя. И, признаться, он с мучительной надеждой искал эту дорогу, на которой потеряна частичка своей и Галиной жизни.

Та пора, что безвозвратно оставалась за спиной, только начала брезжить перед его взором меж окутанных снегом деревьев сквозь утреннее сверкание инея под серой холстиной неба.

Март выдался с оттепелями, и днем

хорошо пригревало. Малина с утра был в селе. Зашел в контору поинтересоваться, когда будут вывозить дрова для школы: хороший наст стоит; побывал в сельпо. Встретил сильно постаревшего Денисова Егора: тот с ведром тихо шел к колодцу. Поздоровались. Лесник справился о здоровье его супруги.

— Занедужила моя Аннушка-панихида, вторую неделю хворает. Фельдшерица кромская заходила, порошки дала. Так-то, — сообщил Егор и в свою очередь спросил:

— Ты чо, Малина, редко в село бываешь?

— Дела, Егор Кузьмич, дела. Нынче три квартала под вырубку отвалил, но усвистил начальство леспромхоза в отношении леса в пойме Вазы. Вырубка назначена у Порзднянской межевой ямы, — объяснил лесник Егору. — Вот и мотаюсь туда-сюда.

— Ну и пусть пилят, валят. — Что к ним мотаться, как маятнику в часах? Пра... Пусть, — резонно сказал Егор и, вдруг вспомнив что-то важное, взглянул на лесника:

— Слыши, милый человек, Малина? Мне Музгар прописал для ног настой из муравейника. Говорит, хорошо помогает от ревматизма. Будь добр, Малина, не пожалей своих братьев меньших мурашей для больных стариков. Они сейчас спят, не заедят тебя, слыши, как однажды цыганку чуть не съели. Ну, ладно, это я так, к слову. Был тут у нас в конце 30-х случай... Да. Дык, урона им большого не будет. Летом трудяги подремонтируют свои хоромы. С оказией как-нибудь перешлешь? А, Малина?

Неожиданное напоминание о муравьях внезапной болью кольнуло в сердце Малины. Он уже плохо слышал последние слова Егора, однако, обещал выполнить его просьбу, потоптался и, сославшись на дела, попрощался.

Малина возвратился в сторожку. Серко, видимо, не нагулялся и остался на улице. Вечерело. Лесник затопил печь, поставил кастрюлю на плиту для подогрева ужина. Дрова, потрескивая в толке, разгорались, и оранжевое пламя освещало его небогатое жилище. За дверью зацарился Серко. Лесник впустил собаку и, потрепав её за ухом, лёг на широкую самодельную кровать. Было тихо. Серко вытянул лапы, положил на них свою морду, закрыл глаза. В печке потрескивали дрова, да ходики тихо, мерно отстукивали вечернее время...

Какое-то наваждение навалилось на Малину, всплывшее откуда-то изнутри ещё там, в селе, при упоминании Егора о муравейниках, да так и не отошедшее до этого часа. Взгляд его блуждал по стенам, на которых развесены были пучки из разных лесных трав, нитки сущёных боровиков, вязанка-коса лука. В красноватом полумраке взор его нашупал самодельную багетную рамку, которая обрамляла фотографию молодоженов: они с Галей снимались в день свадьбы. Маленький снимок был его талисманом и оберегом в годы войны и ссылки. Недавно увеличил его в райцентре и теперь молча, смотрел на свою молодость.

Затем взор его переместился на шкатулку, притуленный к печке. Малина интуитивно, как бы нехотя, встал, открыл дверцу, достал склянку, зачем-то взболтнул её содержимое. Не зажигая керосинки, достал оттуда же стакан, налил полную ёмкость, что делал он крайне редко. Ощутив во рту жгучую влагу, поморщился, как когда-то бывало в молодости, и, ничем не закусывая, снова прилёг. В надвигающихся сумерках тишину потревожил какой-то тупой грохот. «Снег с деревьев срывается», — подумал лесник, и в подтверждение его мысли за окном снова тупо, но гулко ухнуло.

Хмельное зелье делало своё дело, но лесник не пьянялся... Где-то он уже слышал такой звук. Его солдатская память вырвала из прошлого такой же снежный обвал, но гораздо сильнее прозвучавшего на лесной опушке в военные сороковые.

...Мартовским утром при подходе к Березине завязался бой за небольшую, но сильно укреплённую немцами деревушку. Немцы наседали ожесточенно, отбиваясь от наших бойцов. Дошло до рукопашной. Фашисты окружили Андрея, желая взять живым, видя, что у того кончились патроны. Сколько не молотил он немцев, отбиваясь от них, все же сила пересилила силу...

Уловив момент, Андрей схватил одного из них за горло и с такой силой обрушил на него свой могучий кулак, что у того слетела каска. Падая, фашист увлёк Андрея за собой, и оба рухнули в снег. Андрей не отпускал врага, вжимая его в снежное крошево. И тут ему сзади был нанесен жестокий сокрушающий удар: другой фашист, подняв каску, изо всей силы шарахнул капитана Авдеева по голове...

— Пусть помолится перед смертью, — донесся до его сознания голос.

Андрей очнулся. Дернулся. Открыл глаза: перед ним стояли трое немцев с автоматами. Недалеко от них лежал сломанный ППШ Андрея. Часть бойцов, вперемешку с трупами врага, была разметана по полю. Другая часть их была оттеснена от берега на правый фланг, и до них было далеко, а сам он был привязан к стволу большой ели на опушке леса. Капитан поднял глаза: на раскидистых еловых лапах покоились толщи спрессованного временем снега: «Ну, что, ягода-малина, отвоевался», — мелькнуло у него в голове.

— Ну! — громко сказал на русском языке рыжеватый крупный немец, тот самый, которого душил Андрей на снегу.

На какую-то долю секунды Авдеев ощущил во всём теле противную слабость, но тут же, поборов её, стиснул зубы и дёрнул связанными плечами. Хотел сказать, что коммунисты не верят в бога, да передумал.

— Развяжи, — только и сказал.

Подошёл тот же немец. Наклонился. Стал развязывать на груди веревку. Из рта пахнуло перегаром, какой-то гнилью... «С какой радостью двинул бы по этой вонючей фашистской роже!» — подумал Авдеев. Но ведь их трое, с оружием, и стоят совсем близко, около противоположной такой же ели. Один сук лапника со снегом наклонился так низко, что задень его немец — сломается.

Пока солдат отходил на исходную позицию, у Андрея лихорадочно роилось в голове: «Рискну... — он сделал три шага вперёд. — Руки свободны. Вот сейчас рыжий пойдёт к двум другим и собой закроет его от их взора на несколько мгновений... Должен успеть». Он до конца успел выстроить свои действия и приготовился к прыжку — и в ту же секунду еловый сук сломался, и снежный ком с шумом пошёл вниз. Раздался взрыв... От ударной волны ветви ели вздрогнули, и снежная масса со всего дерева ринулась вниз, похоронив под собой фашистов. Андрея сильно ударило и отбросило снова к елке. Он встал, преодолевая боль в спине, увидел и вытащил торчавший из снега ствол немецкого автомата. Оглянулся: с поля **от** деревеньки на взрыв бежали фашисты...

Малика очнулся от наваждения. Серко подошел к нему, опервшись лапами на край постели, лизнул хозяина в лицо.

Да, войну прошёл. Вернулся домой в Радуницу. Ехал, думал: заживем! Правда, сердце щемила тревога. С лета 42-го письма от Гали перестали приходить. И вот приехал... Даже могилки родных людей не нашел. Погост, как и деревья, были перепаханы бомбами и снарядами так, что борозды эти не заросли до сих пор. Не было сил ходить на родное пепелище. Со слов односельчан, рисовалась жуткая картина гибели жены и сына.

Решил поехать в Брусово, к матери. Своя земля и в горсти мила. Снова поставили бригадиром. В полях работали бабы да дети, да к тому же в 46-м году была страшная засуха. Овсы были тощие, а колосья ржи, выросшие с вершок в длину, были плоскими с шестью-восемью зернами.

Война забрала из села не только мужиков, но и лошадей. Пахали на быках, коровах, а то и на себе. Бабы сковывались в пай по пять дворов, чтобы вспахать усадьбы: четверо впрягались в плуг, пятая шла по борозде, налегая на ручки. Мать тоже была в пае.

Колхозная деревня платила за Победу вторую дань: осенью хлеб вывозили почти весь, оставляли лишь семена и немного фуражка. Хлеба не хватало. Муку с осени берегли к весне: весной тяжелые работы, надорвешься без харчей. И надрывались... От недоедания дети падали и засыпали прямо в поле, на возах тресты и соломы. В зимние каникулы старшеклассникам не давали отдохнуть: посыпали на лесозаготовки, возить для школы дрова.

В деревне летом не хватало лебеды, крапивы, лопухов, стебли которых ели как морковь. Ели всё, что можно было есть. Заготавливали разные съедобные травы, сушили их, мелко толкли в ступах, ошпаривали кипятком, отжимали, добавляли обрат и пекли оладьи. Они выходили черно-бурыми, тяжёлыми, напоминали коровы «мины», а сверху добавляли немного картошки.

По вёснам собирали на полях прошлогоднюю гнилую картошку, из неё пекли дранцы — плотные, как резина, лепёшки.

Немного выручала корова. Иногда баловались молоком, но весь убой сдавали на завод — назад получали обрат. Ели ещё колоколец — шелуху от льноголовок. Доходило дело до берёзовой коры, молодых еловых шишек и белого мха.

Народ недоедал...

В пятьдесят втором году выдался урожай, но погода была паскудной: всю осень моросили дожди. Урывками зерно перелопачивали вручную и днём, и ночью, развозили по дворам для просушки на русских печах.

Как-то пять центнеров гречихи осталось на земляном току. Покрытая брезентом, пролежавшая несколько дней, она согрелась и проросла. Кто-то шепнул «куда надо» — и Андрею дали пять лет лагерей за вредительство. По году за каждый центнер.

Срок отбывал на Урале, на речных островах Косьвы. После смерти Сталина освободился. За время ссылки «приобрёл» бороду. Вернулся в Брусово инкогнито. Матери к этому времени уже не было в живых. Без него унесли на погост и его учителя — наставника Ивана Васильевича, председателя колхоза. Второй год хозяйством руководил пришлый из райцентра, когда-то бывший здесь на практике, коммунист Василий Фёдорович Дербенёв.

К великому сожалению сельских тружеников, в колхозы нередко присыпали таких партийцев — солдафонов, языком и руками которых, кроме как клеить марки, ничего доверять нельзя. К счастью, Василий Фёдорович оказался не из таких.

Хозяйство жило в тяжёлых экономических условиях, была сделана ставка на трудоёмкую, требующую огром-

ных затрат людских сил, но высокодоходную в здешних климатических условиях техническую культуру – лён.

Специализация – сосредоточивание сил и средств на одной приоритетной полевой культуре – вот выход, тот шаг к выходу из тупикового экономического провала сельхозартели. Казалось, начинает сбываться то, о чём мечтал и говорил бывший председатель Иван Васильевич Варёнов.

Дождь неожиданно кончился, как и

появился. Тяжёлая туча, только что висевшая над долом, сдвинулась в сторону Красного болота, и гром, гулко грохоча, висел над лесом.

Малина вышел из сторожки. Крылечко, защищённое широким козырьком, оказалось сухим. Он присел на ступеньку, слушая далёкое ворчание грома. На чисто вымытой грязью поляне лесник глазами нашёл заветную ель. Какое-то время смотрел на неё, потом встал и пошёл по тропке.

«Ну, здравствуй...» – он обнял её шершавый ствол. Поговорив с елью, словно с живым существом, Малина вернулся в сторожку. Вскоре вышел, держа в руках лубяной кузовок с черникой и, позвав Серко, направился в село, к Денисову Егору, живому не подам старику. Многие его одногодки на войнах сгинули, другие давно покоятся на деревенском кладбище, а он, корень крепкого рода, всё ещё, на белую зависть односельчанам, живёт со своей бабкой Анной. Лесник по дороге зашёл в сельпо.

Денисов, словно ожидая Малину, сидел на крыльце, пыхтя самосадом. Увидев подходившего лесника, кряхтя, поднялся.

– Ух ты! Малина пожаловал! Ну, здорово, стало быть! – Егор подал для приветствия костлявую, испещрённую вздутыми венами, руку.

– Здравствуй! – в свою очередь поздоровался лесник.

– Как здоровье? Давно в деревне не был, решил навестить.

– Седай тут, – дед показал на ступеньку. – Как там лес поживает? Грибов и ягод, говорят, много ноне... Ты, я вижу, с гостинцем... Спасибо, Малина.

К крыльцу подбежал Серко, подошёл к Егору и, как старому знакомому, лизнул руку.

— Ишь ты? Не забыл, значит, — он потрепал Серко за голову. — Ну, будь здоров, Серко!

И леснику:

— Что за нужда привела тебя ко мне?

— Да больше вроде бы не к кому. А пришёл просто так, поговорить. Скучно бывает. Грибники нечасто заглядывают, вот и решил.

И вдруг:

— Стакан с огурцом можно? Чай, выросли?

— Стакан с огурцом можно, кады нужда есть. — Он удивлённо посмотрел на лесника.

— А ты что, Малина, того? Начал?

— Да нет, дядя Егор. Просто тоска какая-то гложет. Одному её всё труднее становится переносить. Одиночество — тяжелое это, оказывается, дело.

И вдруг словно прислонил ничего к чему-то:

— Бабка Анна, поди, спит уже?

— Ложиться собиралась моя Аннушка. Мы ей не помеха. Ну, я пошел.

В дверях Егор столкнулся с женой.

— Вижу, лесной человек пожаловал, — как-то весело проговорила Анна.

Малина встал:

— Здравствуйте, Анна Саввична.

Он взял со ступенек кузовок. Протянул ей.

— Вечер добрый, мил человек. Спасибо за дар.

Несмотря на годы, Анна Саввична была шустрой женициной, говорила, вплетая в речь шутки-прибаутки. Ох и весела была она в молодости! Уже двоих сыновей растили они с Егором, но весёлый нрав не покидал её. Уважала Анна Афоню Пушкина за его озорной нрав и на гулянке плясала под его гармонь:

Эх, Афоня – гармонист,
Я тебя уважу:
На гармошку мёд положу,
Палочкой размажу.

И в пляс! Да так, что из-под кожаных поношенных бот пыль до пояса!.. И, бывало, раскрасневшаяся от пляски подойдет к мужу:

– И почему ты у меня, Егорка, не гармонист?

Вышел Егор.

– Посиди с нами, Аннушка, – пригласил он супругу. – Ты как-то хотела видеть Малину. Вот тебе и оказия.

Егор поставил стакан, разложил на газету огурцы:

– Время позднее: день на исход, да ночь на восход.

Она присела на ступеньку с мужиками. Увидев, что лесник достал поллитровку, говорит Егору:

– Ох, Егорка, Егорка. Не укатала ещё тебя бражная горка. Старый ты пень, Егор, давно пора под бугор, а ты все горло смачиваешь, – шутя проговорила полу зубым ртом Анна Саввична. – Уж, подь, твоя душа окаянная выпила море разливанное.

Егор хихикнул в усы.

– Ну, ну, плыви. Берег всё равно будет.

Она пристально, поправив очки, посмотрела на лесника. Его борода, волевое лицо кого-то напоминало Анне. Глаза, глаза, голос... Но бабка встала и, пожелав мужикам доброй беседы, пошла, как она сказала, ночевать.

Вскоре у мужиков разговор стал клеиться. Дед Егор вспоминал молодость, разные житейские истории, о том, как бегали по вечерам в табор слушать цыганские песни.

– Ну, давай ещё постаканимся, – предложил Егор. – Я тебе сказку-быль расскажу про этих цыган, если конечно, не надоел тебе своими баснями.

– Нет, Ягода-Малина, рассказывай.

Они выпили, закусив малосольным огурцом. Солнце уже соскользнуло за горизонт, и над селом стоял багряный закат.

— Вот в такие вечера и бегала молодежь в табор. Как поют, как пляшут цыгане! Особенно выделялась своей красотой одна молодуха. Ох и шельма! До того хороша собой! И на цыганку была не очень похожа. Закрутила она любовь с нашим молодым, под стать ей, бригадиром Андреем Авдеевым... Вот дом их, Авдеевых, — он показал рукой на супротив стоявшую через улицу избу. — Сколько годков стоит бесхозный. А дом ещё крепкий — жить бы в нём да жить.

Егор достал кисет с самосадом, скрутил «козью ножку», кресалом высек огонь, раздул ватную «колбаску», прикурил.

— Так вот. Цыгане из табора этого, что располагался на левобережье Базы, помогали нашей бригаде в полевых работах. Там-то он и встретил её себе на горе-горькое.

Лесник молчал.

— А любил её как! А какая свадьба была! Всей деревней три дня гуляли! Долго об их свадьбе в колхозе вспоминали, потому как такой свадьбы в округе ни до, ни опосля не было. Об одном только сожалели: с цыганами не людски вышло...

Егор глубоко затянулся, выпустил белёсое облачко, взглянул на Малину: тот тоже курил, склонив голову.

— Так вот, я и говорю, — снова послышался голос Егора. — Отобрать-то молодуху у цыган Андрей смог, да побаивался: как бы табор не отомстил ему за утерю своей сплеменницы. Хотели после Нового года уехать, к весне, да Галина уже была на сносях, ребёночка ждали. Решили подождать. А в мае, как и задумали, до приезда цыган, они семьей и уехали. Дочка у них родилась. Уехали на запад:

то ли в Брянск, то ли в Воронеж. Словом, тетка у них там, матери сестра жила.

Лесник молча слушал старика. Хмельное не брало, а бороздило душу, цепляясь за каждый орган.

Закат уже потух, и на западе осталась золотая полоска.

— Слыши-ка, Малина, — обратился Егор к леснику. — Может, останешься.

Малина поднял голову, взглянул на Егора, и тот увидел, что лесник изменился в лице. Нет, не от выпитого содержимого бутылки — внутреннего была какая-то сумятица, что-то тревожило его душу. Однако от предложенной очередной порции не отказался и согласился остаться до утра. Серко, временами поднимая голову на мужиков, тихо лежал неподалеку от их ног.

— Вот и лады, — одобрил Егор. — А то я зрю... у тебя внутрь каки-то нелады... А выпивка не пьянство, а равновесие, баланс между душой и телом. У нас с тобой ночка впереди, язык еще не устал, и «помесь радости с грустью» в подклети стоит. Холодная!..

— Ну, так что? — закомчив тираду о выпивке, спросил старик.

— Говори, ягода-малина! Говори, дядя Егор, да не откусывай, а то меня так и подымывает финал твоей сказки-были поведать.

Егор не обратил внимания на вторую часть сказанных слов лесника. Он уловил лишь его просьбу.

— Так вот. Зря Андрей уехал. Всей бригадой отговаривали. Иван Васильевич, царство ему небесное, председатель наш, ой как не желал отпускать его! Не уговорили. А цыгане не вернулись ни в тот раз, ни в последующие лета. Видимо, баро сам побаивался: ведь, по большому счету, они преступление совершили. Только Андрей, видимо, это в счет не брал. Любил он свою Галинку. Ох, как любил!..

Егор толкнул лесника в бок, встал.

— Ты покури, а я в подклеть за «радостью» схожу...

Они снова выпили понемногу, похрустели огурчиками, и закурив, Егор продолжил.

— Цыгане-то что устроили?.. Хотели Галину увезти, да та заупрямилась, норов свой показала. Так они её избили и, перед тем как сняться с места всем табором, привязали в лесу к елке над муравейником... Надо же нелюдям-бродягам своей соплеменнице такую смерть придумать? В самом деле, у них дикие обычаи. Но, видимо, богу было угодно и другое: меня тем утром по дрова в лес послать. Я и привез ее, вместо дров, из леса. Андрей с матерью своей, Прасковьей, выходили невестку. После их отъезда матьшибко убивалась об них. Жалела их. Писем каждый день ждала, а получит, бывало, царство ей небесное, соседям читала. Мать-то у него грамотная была, умная женщина. В гости ждала. Обещал Андрей матери внучку привезти показать. А тут... война...



Дед Егор посмотрел на Малину. Тот всё так же сидел, опустив голову, держа её в ладонях.

— Ты, что, Малина, ни да, ни ну не вставиши в мой рассказ? Неинтересно про какую-то цыганку слушать? Конечно, ты пришлый человек. Но не думай, что на чужой стороне сокола все вороной кличут. А, может, «радость» не берёт, дык, давай стакан «грусти» прими. Все равно рассказ мой не слишком весел.

Малина от выпивки отказался. Посмотрел на старика пристально, словно вглядывался в ночную темень.

— Говори, Ягода-моя-Малина, говори...

— Ну, коль так, слушай до конца. Вернулся Андрей-то наш с войны живой, но один, без семьи. Сгинула, говорили, где-то под фашистской оккупацией. Прасковья в тот день на все Брусово голосила. Вроде радоваться надо: сын живым вернулся... Сразу допытываться не стали...

Андрея снова поставил Иван Васильевич бригадиром. В пятьдесят втором году выдался хороший урожай зерновых. Андрей на свой страх и риск, без спросу и без оглядки, с уверенностью в своей правоте, чем славятся русские люди, а не только Цезари и Наполеоны, выдал колхозникам аванс рожью, овсом, гречкой. Наголодался народ-то. Надоели лопухи с мякиной да лебеда с крапивой. А колхозу два плана заготовки спустили. Хотели отобрать аванс обратно, да...

У нас ведь как? Если человек, скажем, начальник, стало быть, сделал шаг навстречу людям, о них печется, значит, он враг Советской власти. А какой же враг он был, ежели, можно сказать, голодомор предотвратил?! Людям досыта поесть дозволили...

Да, Андрей был человеком большого мужества: не побоялся поступить не так, как все. За это и любили его колхозники, как и председателя. Это были два сапога-пара. Однако ж оба склонялись по строгому выговору, обещали исключить из партии. В то время это было подобие поли-

тической смерти партийца... Этой же осенью загремел наш кормилец... Жалели его.

После суда Прасковья слегла. Долго болела: сказался нервный срыв, да и работой себя угробила. До работы жадной была. Одним словом, трудоголичка. Не дождалась она сына на этот раз. Усопла Прасковья. Моя Аннушка-панихида отпевала её. Всем селом хоронили мы свою соседку.

Да, Малина, не даром говориться, что со смертью женщины умирает будущее... Нынче на Троицу, сказывают, могила Прасковьи убрана, цветы посажены. И это уже не первый год. И правильно делает тот человек, ибо он понимает, что кладбище – это не только могилы. Каждый холм – страница истории отдельного человека и в целом всей страны...

Короткая летняя ночь подходила к концу. На дворе Егора прокричал петух, и следом за ним, словно дождавшись сигнала, петушиное пение повисло над утренним селом. Егор с Малиной сидели рядом, теснясь на одном приступке, и Егору показалось, нет, он чувствовал, что тело лесника дрожит.

– Ты, паря, чего? – отодвигаясь от Малины, спросил Егор. – Замёрз что ли? От чего тебя трясёт?

Малина поднял голову, взглянул на Егора. В сумеречном свете старик увидел на лице лесника слезы. Они текли струйками по щекам на усы и бороду, и Малина не смахивал их. Егор снова вплотную приблизился к его лицу, долгим взглядом впился в глаза.

– Ты, паря, что? – вновь спросил лесника Егор. – Тобишь кто? – не отрывая взгляда от лица Малины, взволнованно спросил старик. – Сдается мне, что мои догадки с чем-то явно сходятся...

Вместо ответа, Малина взялся своими ручищами за худые плечи Егора, притянул к себе и замер. Потом шумно выдохнув, сказал:

– Да, дядя Егор, это я...

Лесник не разжимал свои объятья, а Егор не пытался от них избавиться. Так и сидели они молча несколько минут в едином людском монолите.

Восток замалинился, и горизонт стал окрашиваться в розовый цвет. По селу разносилось горластое петушиное разноголосье.

– Ты, Малина... прости, Андрей, о каком финале моей былины хотел поведать? – осторожно спросил дед Егор.

Малина промолчал. У него сейчас не было желания хотя бы малую толику перелить из того, что его наполняло, в кого-нибудь другого. Это ведь не то, что поделиться свежими новостями, когда всё ещё так и маячит перед глазами, и роятся в голове мысли, как растревоженные в улье пчелы. Перед его глазами пестрый клубок: лицо Гали, вихрь индиреки вокруг неё и танцующих цыганок, стук колес, автоматные очереди, рёв пикирующих фашистских самолётов, шум пламени, пожирающего родную хату, и болотистые лагерные дороги.

В голове у Андрея шумело. Душевная боль и усталость, видно, брали своё. Ещё никому не удавалось застолбить границу между сном и бодрствованием. И перед тем, как упасть в пропасть сна, Андрей понял самое важное: он теперь до конца своих дней так и останется бобылём, но не так будет чувствовать своё одиночество.

Ещё будут выпадать обильные росы, предвещающие, что однажды утром, открыв глаза, можно будет увидеть на листьях, вместо прозрачных слезинок, твёрдые кружева инея. Осень возьмёт у солнца и сосен пряжу и, вплетая в неё цвета зорь, соткёт своё удивительное, неповторимое по

красоте полотно. Но это всё будет потом, и пока это не правда.

Не правдой оказалось и то, что никому он не нужен, словно перекати-поле, гоняемое ветрами по степным просторам.

Он вернулся с далёких и трудных дорог к своей малой родине, к корням своим – отцовскому порогу. Здесь он когда-то встретил свою первую и единственную любовь и потерял её на дорогах войны. Но где-то растёт на земле цветок их любви. Надо жить, искать, надеяться и ждать. Ждать человека, которому ты очень нужен.

И чем дальше, тем явственнее его память шла по следам былого. Живя в гармонии с природой, Андрей черпал её энергию и неиссякаемую силу.

Каждый человек в своей жизни должен исполнить свой долг, но не каждому из нас отмерена одна и та же мера долга. Все эти годы Авдеев нёс свою ношу сам, не разделяя её ни с кем, и ревниво оберегал от посторонних ушей и глаз, отчего его ноша становилась все весомее и тяжелее. И когда он неожиданно для себя открылся людям, своим землякам, они поняли его и будто взяли часть этой ноши и переложили себе на плечи.

Неделю спустя после того, как лесник

Малина открылся односельчанам, он, к их одобрению, сбрив бороду, стал чаще бывать в селе.

Наступил вечер, и раскаленное солнце садилось за лес. Казалось, где-то там, на западной стороне горизонта, горели деревья. Андрей не спеша шёл к деревне вдоль прохода, уходящего от леса. Его верный спутник Серко бежал далеко впереди. С севера прямо на зарево, а леснику в спину по небу неслись облака. Они напоминали лошадей, лёгких в аллюре, и Андрей видел их взмыленные морды и гривы, развеивающиеся на ветру. Андрей пошёл быстрее, словно его, а не облака гнал ветер.

Он подошёл к своему дому, где родился и прожил свою молодость. Остановился у калитки пошатнувшегося палисадника, облокотился на неё — та, жалобно вскрипнув, открылась произвольно без толчка... Как давно это было!.. Сколько и какие только руки не открывали эту калитку!

Лесник Андрей Авдеев предчувствовал в своей жизни какие-то перемены. Какие не знал, но чувствовал: что-то должно случиться. Он не переживал, не тревожился. Обошёл вокруг дома, прикидывая, что нужно для того, чтобы привести его в надлежащий вид, хотя жить в нём он пока что не собирался: хватит ему и лесной сторожки.

Но как-то в начале августа в Брусово приехали председатели сельсовета Валентин Дмитриевич Охотин, председатель колхоза Василий Федорович Дербенёв и директор местной семилетней школы Зоя Андреевна Варёнова — и прямо от правления колхоза к дому лесника. С ними из машины вышла молодая красивая женщина. Пока ждали лесника у дома Авдеевых, собрались, считай, все жители села. Получилось что-то вроде стихийного митинга.

— Уважаемые односельчане! — обратился Валентин Дмитриевич к собравшимся. — Знакомьтесь, ваш новый

учитель литературы и русского языка — Алёна Андреевна. Прошу любить и жаловать! Жить Алёна Андреевна будет с вами в Брусове. Наш отшельник, лесник Малина, пускает её на квартиру.

Охотин увидел мужчину, вышедшего из проулка в улицу:

— Да вон он и сам идёт.

Алёна подалась немножко вперёд, навстречу хозяину дома. Рослый, с виду крепкий мужчина, одетый в легкий дождевик зелёного цвета, шёл очень медленно, хотя казалось, что спешит...

Гибель невестки и племянника больно

резануло по сердцу тетку Васёну. «Проклятые ироды!..» – обнимая Алёнку, шептала она, и племяннице за шею, щекоча, как мухи, ползли тёплые слёзы. Теперь тётка перенесла всю свою любовь на Алёнку. Сначала побаивалась: как бы односельчане ненароком не проболтались, что Алёнка, да и она сама, Васёна, находятся в родстве с погибшей Авдеевой Галиной. Но бог смиловался: таких в деревне не оказалось, да и комендатура особо не разнюхивала и к дому с проказой подходила нечасто.

После той зверской расправы немцы не лютовали в округе, если не считать расстрела соседа Галины – Никиты Страхова. Тот без разрешения на толастей решил похоронить ее с сыном.

Две ночи тайком от фашистов он копал могилу. На третью тихо снял их трупы с тополя и так же тихо на двухколке отвез на кладбище. Он знал, что немцы не помилуют ослушника, и поэтому взял с собой узелок с едой, намереваясь после уйти в лес. Утром, когда стало светать, немцы заметили «пропажу» и застали Никиту на погосте, когда он заканчивал копать яму.

Подъехав на мотоциклах, они окружили Страхова, дав ему докопать могилу. Пока он выкидывал со дна последнюю землю и вылезал по доскам наверх, фашисты громко гоготали. Так же гогота,бросили двухколку с трупами в могильную яму, на краю которой с противоположной стороны с лопатой в руках стоял Никита. Раздалась автоматная очередь. Страхов пошатнулся и, переломившись в пояснице, рухнул в могилу. Соседи и после смерти остались рядом.

Здоровье тётки Васёны ухудшалось. Копать и убирать картошку и огород Алёнке помогали соседи. Немцы перемещению по деревне жителей не сопротивлялись, за-

прета не было, но тётка и соседи смотрели, чтобы Алёнка не бегала меж немцев на другой край деревни. Они, казалось, и не воевали, а отдыхали в тихом зелёном оазисе меж дремучих брянских лесов.

Однако в начале октября занервничали, стали злыми, словно их подменили. Танки куда-то исчезали, потом появлялись вновь. Деревню заполнили еще откуда-то приехавшие солдаты. В юго-западную сторону стали пролетать краснозвездные самолеты, и это раздражало фашистов.

А вскоре пришла Красная Армия. Бой за деревню был недолгий, но ожесточенный. Половина села горела, земля гудела и содрогалась от взрывов... Сбылось проклятие Галины: в первые минуты боя соседи видели, как, пробегая мимо колодца, офицер, что казнил семью Авдеевых, рухнул на землю, как будто запнулся о что-то. К вечеру немцев выбили из деревни и ее заполнили советские бойцы. Догорали избы. Через сутки огонь и дым успокоились.



Поздней осенью тётка Васёна скончалась. Избу её заняли погорельцы, чьи дома сгорели в ходе боя. Алёнку вместе с другими сиротами, что остались без родных, увезли члены комиссии по опекунству. С её слов и свидетелей-соседей записали исходные данные для выправки новой метрики для Алёнки, взамен сгоревшей при пожаре. Из документов у девочки были лишь фотография отца с матерью ещё до военного времени и... детская память.

Менялись детские дома и приюты, и наконец, она была определена в Тейковский детский дом в Ивановской области. Переезжая из одного детдома в другой, Алёнка выросла, стала такая же высокая, как мать, крепкая, прочная в кости. Из небольших яблочек сформировалась красивая грудь, тёмные глаза в длинном частоколе ресниц, тоже напоминали мать.

Повзрослев и став студенткой Ивановского областного пединститута, Алёнка искала отца. Посыпала запросы о нем в разные инстанции военных ведомств Министерства обороны. Через годы поисков и запросов пришел долгожданный ответ: «В списках погибших или пропавших без вести не значится». В сердце Алёны затаилась надежда: «Живой, значит!.. Где ты, папка?..»

Когда началась война, Алёнке Авдеевой шёл пятый год. Она хорошо помнит: в избу вбежала мать, тревожная, суетливая. Накинула на голову шерстяной платок, скоро завязала его:

– Идут же, идут! Господи! Может, в последний раз видимся... Да шевелись ты, Христа ради, квёлай!..

Мать схватила из кроватки полугодовалого сына Мишку. Скрутила, спеленала. Поверх легкой одежонки накинула одеяльце с полуушалком и бегом от деревни через поле к тракту-большаку.

Стоял серый осенний день. Мокрая, раскисшая стерня лежала по сторонам грязной дороги, по которой двигались подводы, тugo забросанные котомками. За подводами неровным строем шли мужики, одетые в разные одежды. Шагали из военкомата на станцию, отправляясь в армию, на войну...

Из растянувшегося строя, увидев жену и детей, выскочил Андрей. Краснощекий, широкий в плечах, отступаясь в колеях, бросился к ним. Он поднял Алёнку и поцеловал: «Алёнка! Ягодка ты моя, малинка! Расти!» нашёл в пелёнках маленькое личико плачущего сына, взглянул на него, ткнулся неумело губами в орущий ротик. Галя висела у него на плече, а он легонько, ласково её отталкивал, оглядываясь на своих деревенских, говорил:

— Галя, родная моя! Ну, чего мокроту разводить? Ты меня знаешь — вернусь, не пропаду... Береги детей...

Галина не плакала — она дико кричала. Платок съехал с ее головы, обнажив взъерошенные волосы, а он, не зная, что делать, куда деть с рук сына, поглядывал по сторонам, как будто искал у кого-то поддержки. Так и шли они плечо в плечо по дороге: он нёс сына, она, ухватившись за него, громко по-бабы выла. Взяв в руки подол матери, скользя и брызгая грязью не по размеру большими галошами, шла Алёнка...

Пронеслись годы учёбы на факультете русского языка и литературы. Новоиспечённого молодого педагога Алёну Андреевну Авдееву по распределению направили в Верхне-Ландаховский район, а оттуда в Шатуновскую семилетнюю школу Кромского сельсовета. Место жительства определили ей село Брусово.

... — Ну, здравствуй, Андрей Иванович, — Охотин протянул леснику руку. — Вот, принимай постоялицу. Знакомьтесь.

Молодая женщина протянула руку:

— Алена. Алена Андреевна.

Взглянув на учительницу, Андрей окаменел так, что не в силах был ответить на ее приветствие. Он даже изменился в лице. Охотину показалось, что лесника качнуло и он вот-вот упадет.

— Андрей Иванович, — учительница растерялась, — что с вами?

Охотин и Дербенёв подошли к нему, а он молча, не обращая ни на кого внимания, смотрел только на молодую женщину, и губы его что-то шептали...

Через мгновение он пришёл в себя:

— Да, да, — как-то несвязно проговорил Андрей, за поздало протягивая ей руку. — Здравствуйте.

Мягко, по-отечески он взял руку учительницы в свою могучую ладонь, не отрывая глаз от её смущённого красивого лица. Перехватив её ладонь в свою левую руку, улыбнулся и, показывая правой в сторону крыльца, произнес уже иным голосом:

— Милости прошу!.. Проходите!

Андрей поклонился своей квартирантке, заодно прихватил с земли её поклажу — небольшой чемоданчик.

Оба председателя, сосед Егор, односельчане тоже поднялись на свежевымытое крылечко и, пройдя прихожую, очутились в просторной горнице.

Молодая постоялица оглядела чистый просторный зал, взглянула одобрительно на топтавшегося на месте хозяина, улыбнулась, на секунду задержав свой взгляд на его лице.

«Господи! Как она похожа на мать!» — думал Андрей, следя за её передвижением по горнице.

Вдруг Алёна увидела фотографию, обрамлённую в багет: красивая пара молодоженов улыбалась ей с простенка. Учительница с минуту разглядывала её, потом обернулась к хозяину избы.

— Андрей Иванович, откуда... — хотела она спросить, но вопрос повис в воздухе...

Андрей стоял молча. Лёгкая дрожь пронизывала всё его тело, по щекам катились крупные слезы. Алёна замерла. Сердце сжалось в комок. Она качнулась... и упала в раскрытые объятья отца.

— Папа!.. Как долго я искала тебя...

Отец и дочь, два взрослых человека, одна — ещё молодая, другой — пожилой с полуседыми волосами, стояли и плакали. Они не стыдились своих слёз. Алёна, словно в обмороке, притихла у отца на груди, а тот трясущимися от волнения руками прижимал её к себе и тихо шептал:

— Ягода ты моя... Малина...

Когозим августовским днём меж зрелых хлебов к лесу, в сторону Цыганского дола, шли двое. По золотым хлебным волнам под бегущими по небу облаками на горизонте вырисовывались комбайны, будто сторожевые корабли. И Казалось, эти двое сейчас взойдут на один из них и поплынут в новую счастливую жизнь.

Деревня Брусово
Ивановской области, —
село Ягуново
Кемеровской области
1964-2008 годы.

P.S.: Через 30 лет после Победы перенесший два инфаркта 75-летний Авдеев по воле случая оказался в

Кузбассе. Не устоял перед настойчивыми просьбами по-жилого свата Миловидова Виктора, проживающего в селе Ягуново Кемеровского района, что в 14 километрах от центра Кузбасса.

Свату готовил сюрприз.

Слушая передачу по радио Кузбасса в канун праздника Дня Победы, Миловидов услышал фамилию Зима. Бывший политрук, как было ясно из передачи, ныне работник Кемеровского электро-механического завода, рассказывая о войне, упомянул эпизод, произошедший где-то на территории Белоруссии, про Заячью Гору и смелом поступке старшины то ли Валеева, то ли Деева. Виктора пронзила догадка: о схожем случае как-то, вспоминая войну, рассказывал его сват Андрей Авдеев. Миловидов сообщил об этом Андрею, и между ними завязалась активная переписка, в которой Виктор убедил Андрея приехать в гости.

А пока через детей Миловидова, работающих в Кемерово, решили начать поиски бывшего политрука. Летом Авдееву приехать не удалось, и приехал он лишь в канун Нового 75 года. Но встревоженное больное сердце ветерана не выдержало: 5-го января 1975 года на пороге встречи двух боевых товарищей Андрей Авдеев скончался. По неуточнённым данным, бывший политрук Зима ушёл из жизни в 80-х годах.

ББК 84.3 Р7
Миш 71

Литературно-художественное издание

Мишуков Александр Алексеевич

Чиганский дол

Драматическая повесть

Редактура, оформление обложки и рисунки – Автора

Корректор – Гуммель О.Я.

Набор текста – Коновалова Н.А., Скрицкая О.Н.,
Янченко С.А.

Военный консультант – участник ВОВ, майор запаса

Корепанов Н.М.

Отпечатано в типографии

РПА «Ректаймс»

пр. Советский, 40.

Издано по лицензии Союза писателей Кузбасса ЛР № 030775

© А. Мишуков

© СП

© РПА «Ректаймс»

200p.

